

В. Морозова  
**КЛАВДИЧКА**

Издательство  
"Детская  
литература"



В. Морозова

# КЛАВДИЧКА

ПОВЕСТЬ

Рисунки  
И. Ушакова



МОСКВА

„Детская литература“

1974

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

**Морозова В. А.**

M80      Клавдичка. Повесть. Рис. И. Ушакова. М., «Дет.  
лит.», 1974.

175 с. с ил.

Повесть о профессиональной революционерке, соратнице В. И. Ле-  
нина — Клавдии Ивановне Кирсановой.

М 70803—307  
М101(03)74 без объявл.

P2

© ИЛЛЮСТРАЦИИ.

## К ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОЙ КНИГИ

Эта повесть расскажет вам, дорогие ребята, о Клавдии Ивановне Кирсановой и ее боевых товарищах, жизнь которых принадлежала партии и революции.

Трудным, суровым было то время. Революция 1905 года была подавлена. Разгромлены баррикады в Мотовилихе — большом заводском поселке, где жили рабочие нашего Орудийного завода. Арестованы многие товарищи. В город Пермь, объявленный на «чрезвычайном положении», вошли карательные войска. Партия работала в глубоком подполье. В лесах под Пермью в партизанском отряде укрылись боевики — участники вооруженного восстания. С ними бесстрашный командир Александр Михайлович Лбов. Год спустя к «лесным братьям» Лбова присоединились приехавшие из Петербурга рабочие-боевики.

В те тяжелые дни 1906 года в Пермь приехал Яков Михайлович Свердлов. Он восстановил разгромленную партийную организацию, но работать ему в Перми пришлось недолго: его арестовали. Это Свердлов поручил Клавдии Ивановне подготовить побег из тюрьмы политических заключенных: Трофимова, Меньшикова, Глухих, которым грозила смертная казнь. Побег не удался.

Я и сам участвовал в подготовке этого побега, но и меня арестовали. А потом в ту же губернскую тюрьму попала и Клавдия Кирсанова. Военный суд приговорил ее к вечному поселению в Сибирь, откуда вскоре она бежала.

Со многими товарищами, о которых вы, дорогие ребята, читаете здесь, я встречался; знал я и Александра Михайловича Лбова, но ближе всех, пожалуй, Сашу Трофимова — он был моим давним другом. Он сражался на баррикадах, был боевиком, неоднократно охранял Якова Михайловича Свердлова от наскока шпиков, а тот иногда ночевал в его доме в Мотовилихе.

Хорошим моим другом была и Клавдичка Кирсанова. Гимназисткой она стала профессиональным революционером. Ее уважали и любили рабочие. А Я. М. Свердлов ценил ее за беспредельную смелость и находчивость. Она вела пропаганду среди солдат пермского гарнизона. Умная была, энергичная девушка. Она и рекомендовала меня, шестнадцатилетнего парня, в 1906 году в большевистскую партию.



*В далекой сибирской якутской ссылке, где я вновь встретился с Клавдишкой в 1913 году после отбытия ею четырехлетней каторги, она не прекращала партийной работы. В октябрьские дни 1917 года и в гражданскую войну Кирсанова устанавливала Советскую власть в Надеждинске. Случилось ей и водить полк в атаку против белогвардейцев.*

*С тех пор — после встречи в якутской ссылке — моя дружба с Клавдией Кирсановой не прекращалась до дня ее кончины — 10 октября 1947 года.*

*Нелегко нам, ребята, досталась победа в революции. Многие погибли на эшафоте и каторге. Но память о них должен беречь народ.*

*Есть в Мотовилихе крутая, высокая гора, называется она Вышкой, и слывет она исторической... Воскресным июльским днем 1905 года здесь свершилось кровавое дело: царские опричники набросились на мирную сходку рабочих. Были убитые и раненые, не пощадили царские сатрапы даже женщин и детей... И там, на этой горе Вышке, воздвигнут теперь памятник. У подножия его горит огонь Вечной Славы. Виден он с пароходов, плывущих по реке Каме, с поездов, идущих из Москвы, с окраин города. Поставлен тот памятник героям, павшим в неравных боях за революцию. Покоятся там и дружинники-боевики, о которых прочтете вы в этой книге... В книге почти нет вымышленных имен, они установлены архивными документами и памятью тех, кому посчастливилось дожить до сегодняшнего дня, в ней раскрыты имена товарищей, известных нам лишь по партийным кличкам.*

*Подлинные судьбы и подлинные события положены в основу этой повести. Вот почему книга эта читается с таким большим волнением и интересом.*

*Москва. 1966 г.*

*В. А. Урасов,  
член КПСС с 1906 года,  
парт. билет № 04636393.*



## ПЯТЬ БОМБ УРАСОВА

Михалыч

Остроконечное здание Пермской губернской тюрьмы, обнесенное высокой кирпичной стеной, она увидела сразу, как только вышла на Вознесенскую улицу. Холодный ветер с колючим снегом, налетевший с низицы, заставил девушку поглубже надвинуть смушковую кубанку и поднять воротник короткого синего жакета. Она потерла вязаной рукавичкой покрасневшиеся на морозе щеки и прибавила шаг.

Мимо нее, грузно оседая на рессорах и поднимая искристую морозную мглу, проехала тюремная карета с глухо зашторенными окнами.

Девушка поспешно перешла улицу и оказалась на узенькой тропке Анастасьевского сада. В этот пасмурный день оголенные тополя и липы чернели сиротливо, подчеркивая суровость тюремного здания.

По Анастасьевскому саду с разных сторон были протоптаны тропинки, и все они, словно лучи, сходились у тюремных железных ворот. Клавдия, стряхнув снег с жакета, отворила

дверь в канцелярию, и ее тотчас оглушил разноголосый шум «свиданной комнаты».

Женщины и дети торопливо и сбивчиво пытались что-то объяснить подслеповатому седому надзирателю, принимавшему передачи за узким деревянным столом. Клавдия заняла очередь за сгорбленной старушкой в потертом салопе.

Пермская губернская тюрьма была переполнена. Комнату для свиданий с заключенными делила железная решетка, ржавая и частая. В дни свиданий к этой решетке выводили заключенных. Через всю комнату тянулся деревянный невысокий барьер, гладко отполированный локтями, к которому допускались посетители. Между железной решеткой и деревянным барьером по узкому коридору прохаживался старший надзиратель. В красном углу рядом с решетчатым закопченным окном светилась лампада перед иконой божьей матери в серебряном окладе. Икону подарили тюрьме братья Каменские, богатые пермские купцы.

Старушка в потертом салопе молча поставила на узкий стол кошелку и туесок с молоком, кора которого покрылась изморозью. Негнушимися узловатыми пальцами вынула из кошелки белый узелок.

— Трофимову, сынку, на башню...— проговорила она, и сморщенное лицо затряслось, губы задрожали.

Надзиратель короткими толстыми пальцами поворошил содержимое узелка, заглянул в туесок, разломил буханку ситного. Потом поднял голову и решительно отодвинул котелок с пельменями:

— Знаешь ведь, старая, пельмени-то в котелке по инструкции не положены.

— Сынок просил... Его любимые... Прими, батюшка, век буду бога молить.— И она низко-низко поклонилась.

Надзиратель насупился, помедлил и молча сунул передачу в большую плетеную корзину.

Этого надзирателя Клавдия знала. Жил он на Пермской улице, в одноэтажном собственном доме и иногда захаживал «на пулечку» к ее отцу, Ивану Васильевичу. Человек он не злой, но служака ревностный. И сегодня, увидев его на дежурстве, Клавдия огорчилась: у нее в туеске... тонкие стальные пилки. Правда, пилки между берестяными стенками, а записка о Пермском комитете РСДРП в двойном деревянном дне...

— Студенту Льву Герцу, в крепость,— сказала Клавдия, когда подошла ее очередь.— Жениху моему...— и, поставив

туесок на узкий стол, принялась вынимать из кошелки ситный, баранки, домашнее печенье.

— Эх, барышня, барышня,— заворчал надзиратель,— зачистили к нам. Такая красавица, а женишок, вишь, в тюрьме... Нехорошо-с...

Надзиратель поднял очки на лоб и посмотрел на девушку. Серая смушковая кубанка серебрилась на ее небольшой, горделиво посаженной головке, из-под кубанки улыбалось румяное кареглазое лицо. Каштановые волосы выбивались на лоб, тугие косы падали ниже пояса. Дружелюбно выслушивая надзирателя, девушка постукивала застывшими ногами в кожаных ботинках с галошами.

Старик привычно просматривал передачу. Ломал баранки, домашнее печенье, ситный... Наконец он взял туесок. Пальцы медленно прощупывали берестяные стенки, постучал по ним, открыл крышку, всплеснул молоко... У Клавдии сильно колотилось сердце.

Наконец он отодвинул локтем туесок и, открыв ящик стола, вынул список заключенных, находящихся в крепости. Близорукими глазами начал просматривать фамилии, перелистывая листы желтоватой бумаги.

— Так вот, барышня, передачу примем, а на свиданьице...— он кашлянул,— разрешения нет.

— То есть как это — нет? — удивилась Клавдия, поправляя каштановую прядь.— Я ведь только вчера заходила к начальнику,— не задумываясь, прибавила она,— он сам разрешил. Нет, нет, тут, верно, опять тюремная канцелярия что-то напутала... Уж вы, пожалуйста, распорядитесь,— вежливо, но властно закончила она и отошла к скамье, на которой пристроилась мать Трофимова.

Старушка огляделась, зашептала:

— Спасибо, доченька, не забываешь старую. За деньги спасибо. Я сразу поняла, что ты их приносила, когда конвертик-то нашла. Плохо без сыночка. Один кормилец. С голоду бы померла, кабы ты не позаботилась.

— Да я-то тут при чем? — улыбнулась Клавдия, рисуя на грязном полу носком ботинка замысловатые узоры.— Хороших людей много, вас не оставят в несчастье.

Карие и лучистые глаза ее тепло смотрели на Трофимову. Лицо стало задумчивым. Да, старушка верно догадалась: деньги приносила она. На беду, вчера поднялась метель, снег ходил по городу белой стеной, и Клавдия с трудом разыскала старый покряхтевший домик с деревянным забором. Старуш-

ка оказалась в церкви, и Клавдия, долго прождав на морозе, не выдержала. Деньги она оставила на комод в комнате, в которую ей разрешила зайти соседка, любопытная и бойкая бабенка.

В этот вечер Клавдия разносила деньги по нескольким адресам в разные концы города. Пришлось-таки помучиться. Продрогла она отчаянно. Но разве в этом было дело? Деньги эти надо было собрать! В дни полочки сборщики подходили к рабочим с чековой книжкой и по копейкам собирали их для семей арестованных. Делали это осторожно. Рабочие прятали отрывной талон с печатью Пермского комитета РСДРП...

— Бросила бы ты по тюрьмам-то ходить,— снова зашептала старушка Трофимова.— Молодая, ладная, красивая,— старушка любовно рассматривала девушку,— образованная. Да тебя первейший жених возьмет... Гляди-ка, сам богач Губонин засватает. Семья у вас хорошая, трудолюбивая. Достаток хоть небольшой, но имеется. Батюшка твой всем деткам образование дал, и бог его здоровьем не обидел. Жить бы тебе да радоваться. А ты все по тюрьмам!

Старушка так искренне ее жалела, что Клавдия рассмеялась.

— Прости меня, старую,— улыбнулась она растерянно.— Знать, молодым виднее, как на свете жить.

По «свиданной» прошло легкое движение. И вдруг все вскочили со своих мест и, торопясь, толкаясь, устремились к деревянному барьеру. Женщины в нагольных полушубках пропускали вперед детишек. Глаза всех были обращены на железную решетку.

Клавдию всегда удивляло, как по неуловимым признакам, известным только им, определяли женщины выход заключенных. И действительно, не прошло и пяти минут, как послышался глухой топот, звон кандалов и громкий мужской разговор. За решеткой появились заключенные.

Качнулось пламя в керосиновой лампе, дрогнула лампада у иконы божьей матери, а плач и крик в «свиданной» все нарастал.

Клавдия протиснулась к барьеру. Решетка мешала рассмотреть лица, и девушка боялась пропустить Свердлова. Именно к нему «невестой» и пришла она на свидание.

При аресте Яков Михайлович назвался Львом Герцем, предъявив студенческий билет имперского лесного института.

Время свидания истекало, а Свердлова все не было. Что могло произойти? Не заболел ли? Или опять в карцер угодил? Клавдия терялась в догадках. Всего лишь полгода проработала она с Яковом Михайловичем, а сдружились крепко. Пережили не мало, но и работали хорошо: организацию, разгромленную после декабрьских дней, восстановили, подпольную типографию наладили, боевую дружину сохранили, оружие и динамит добыли... А как полюбили Михалыча рабочие! Когда ночью приходилось возвращаться из Мотовилихи, его всегда провожали в город боевики. Трудно пришлось Свердлову в Перми. Охранка гонялась по пятам, за его голову назначили крупную награду. Охотники нашлись не сразу, но все же нашлись... Кто выдал Михалыча и его жену? Кто? Его взяли на улице. Квартал, где находилась конспиративная квартира Пермского комитета, оцепили. Даже из Екатеринбурга вызвали шпиков — филеров, хорошо знавших Свердлова в лицо. Была устроена настоящая облава, облава среди бела дня. Конечно, в комитете был провокатор. Но кто? Свердлов, слишком опытный подпольщик, понял сразу: круг сомкнулся. Заседание провел быстро и первым вместе с женой вышел на улицу. Они свернули в глухой переулок, рассчитывая прорваться к пристани. Несколько филеров кинулись на Михалыча и его жену. Их затолкали в пролетку, и помчались...

И вот Клавдия Кирсанова, заместитель Якова Михайловича по военной работе, в «свиданной» ждет встречи с ним в этот пасмурный декабрьский день 1906 года. Невесело. Ее арестовали вместе с Михалычем. Но хлопотами отца, известного в городе подрядчика, она была отдана на поруки.

Михалыч вскоре вынужден будет назваться своим настоящим именем, а то жандармы готовят ловушку. Клавдия слышала от товарищей, что против него возбуждают уголовное преследование: обвинение в бродяжничестве! Охранка не церемонится — важно любыми средствами изолировать Свердлова. Четыре года каторги за «бродяжничество» — не такой уж малый срок.

Дрогнуло пламя в керосиновой лампе, и, перекрывая шум «свиданной», послышался зычный густой бас:

— Родненькая моя! Наконец-то!

«Яков Михайлович! — обрадовалась Клавдия. — Только не знает, под каким именем пришла...»

За решеткой колыхнулись заключенные, и она увидела осунувшееся смеющееся лицо Свердлова. Тонкими длинными пальцами он держался за решетку. Невысокий, худощавый, в



серой арестантской одежде, Михалыч выглядел подобранным и сильным. Густые волнистые волосы падали на высокий лоб, темные глаза мягко смотрели сквозь стекла пенсне. Черные усы и черная борода подчеркивали матовый цвет лица.

— Левушка,— громко крикнула Клавдия,— молоко получили?

— Отличное молоко! Спасибо! — отозвался Свердлов.

— Ну и голосина — иерихонская труба! — проворчал старший надзиратель, у которого на груди горела начищенная медаль «За усердие». Он медленно прохаживался по узкому коридору.

— Как здоровье? — прокричала Клавдия, наклоняясь через барьер.

— Барышня! Не дозволено! — Старший надзиратель сделал запретительный жест. И усмехнулся: — Женишка своего и так услышите... Бог голосом не обидел.

— Хорошо! — послышалось в ответ. — Не волнуйся! Тут меня осматривал лекарь. Говорит, после голодовки начался процесс в левом легком... Только я его успокоил — это еще с Николаевских рот, когда меня в карцере избивали...

— Не дозволено! Не дозволено, молодой человек! — заторопился к решетке старший надзиратель.

— А бить жандармам дозволено? — зло огрызнулась Клавдия, сверкнув карими глазами.

Шум в «свиданной» затих. Люди прислушивались к их разговору.

— Насильники! Убийцы! — расколол тишину хриловатый голос.

Молодка, прижимая к груди ребенка и ожесточенно работая локтями, проталкивалась к барьеру. Клетчатый полушалок сбился. Клавдия заметила маленькое покрасневшее ухо. Зашумели заключенные, затрясли решетку. Старик с кирпичным обветренным лицом и вислыми усами поднял тяжелый кулак:

— Дождетесь! Дождетесь, ироды!

Забегали надзиратели, оттаскивая заключенных от решетки. Заключенные огрызались. Раздался женский плач, крик ребятишек. Свердлов взмахнул рукой и бросил в толпу:

— До свидания, товарищи! Сила за нами!

Начальник тюрьмы, крупный, розовощекий, с аккуратно подстриженными усиками, стоял тут же в черной длиннополой шинели с голубым кантом. Он обвел настороженными глазами

толпу, задерживая взгляд на Кирсановой. Стараясь казаться спокойным, приказал:

— Прошу расходиться!

«Свиданная» медленно пустела.

В Анастасьевском садике кружила метель. Серебрилась кора деревьев, покрытых изморозью. В густом кружеве из иней стояли невысокие липки. Ветви их напоминали узоры на прихваченных морозом стеклах.

Клавдии очень хотелось приподнять деревянное дно в тепер уже порожнем туюске. Но не здесь. Мимо нее торопливо пробегали люди, и она не решалась. Клавдия натянула на серую смушковую кубанку вязаный платок, подняла воротник жакета.

Что означают его слова о Николаевских ротах? Неужели его хотят перевести в эту тюрьму с почти каторжным режимом? Свердлов пока в Николаевских ротах не бывал. И если он их назвал... Хуже и не придумаешь. Ведь здоровье у Михалыча не ахти какое. Да-да... Хуже не придумаешь... А что он сказал о голодовке? Значит, политические голодали. А били его действительно. Только не в Николаевских ротах, а в Нижегородской тюрьме. Он тогда был совсем мальчиком. После побоев и карцера у него и началась чахотка...

Она не выдержала, притаилась за густым орешником, подняла дно туюска: записка!

Крупный размашистый почерк. «Хорошо жить на свете! Жизнь так многообразна, так интересна, глубока, что нет возможности исчерпать ее...»

Клавдия недоуменно шевельнула бровями.

«...При самой высшей интенсивности переживаний можно схватить лишь небольшую частицу. А надо стремиться к тому, чтобы эта частица была возможно большей, интересной... Болею душой за участь Трофимова, Меньшикова и Глухих. Во что бы то ни стало, при любых трудностях, необходимо всех их вырвать из тюрьмы. Военный суд им грозит смертной казнью. Организацию побега возлагаю на вас. Михалыч».

«Смертная казнь!» Лицо Клавдии сделалось серым. Она долго стояла у куста, не замечая ни мороза, ни ветра.

Ранними зимними сумерками Клавдия, кутаясь в белый пуховый платок, подошла к двухэтажному дому на Большой Ямской улице.

Старик, сгорбленный и худой, в потертом оленьем треухе, подставил лестницу к уличному керосиновому фонарю и грязной тряпкой протирал закопченное стекло. Тусклый свет желтым пятном расплзался по деревянному тротуару.

Дом, около которого она остановилась, был новый, с резными наличниками на окнах. Дощатая калитка вела в заваленный снегом палисадник с редкими молодыми деревцами. Тропинка, плотно утоптанная и посыпанная хвоей, упиралась в высокое крыльцо под железным козырьком.

Клавдия обмела веником валенцы и по крутой лестнице поднялась на второй этаж в квартиру своего товарища Володи Урасова.

Чистенькая горница с бревенчатыми стенами, за ситцевой занавеской на окне полыхала герань, в плетеной клетке — щегол. Пахло дымком и свежее испеченным хлебом. На зеленоватой клеенке пофыркивал начищенный самовар.

За низким столиком у русской печи на чурбаках расположились Урасовы — отец и сын. Отец сапожничал. Обычно он работал один, но сегодня, в воскресный день, ему помогал Володя.

Приходу гости Урасовы обрадовались. Володя удивленно вскинул густые русые брови, снял черный матерчатый фартук. Неторопливо подсел к круглому столу, надел на самовар конфорку и начал разливать чай.

— Раздевайся, Клавдичка... Погрейся с морозцу-то, — глуховато пригласил Урасов-старший.

Он провел большой рукой по русой окладистой бороде и долгим задумчивым взглядом посмотрел на девушку. Тяжело вздохнул и, всунув деревянную колодку в стоптанный сапог, стал прибивать подметку, ритмично постукивая молотком.

— Спасибо, Александр Иванович. От чая не откажусь, — певуче поблагодарила Клавдия, развязывая пуховый платок и снимая потертую шубейку.

Она скинула платок, поправила синее гимназическое платье, потеряла озябшие покрасневшие руки.

Володя, высокий, широкоплечий, с тонким лицом и большими голубыми глазами, медленно помешивал в стакане ложечкой. По спокойному выражению лица Клавдии трудно

догадаться, чем вызван этот необычный приход. Дом Урасовых, с недавних пор превращенный в тайный склад динамита, товарищи без крайней нужды не посещали.

— Ну, вы тут чаевничайте, а я ненадолго в амбар схожу, — поднялся Александр Иванович.

Володя с благодарностью посмотрел на отца. Хлопнула дверь, и Клавдия услышала, как тяжело заскрипела лестница.

— Понимает, что поговорить надо. Вот и надумал... — Володя отставил стакан и придвинулся к Клавдии. — А ведь волнуется, да как волнуется... Знаешь, когда динамит пришлось прятать, — траншею в амбаре рыл! Тогда с каменоломен притащили мне домой динамит. Заранее обмозговал, где его припрятать. Но так все быстро завертелось, что подготовиться толком не сумел. Ну, на первый случай разложил патроны... Заметила? Они ведь в пергаментной бумаге на «чертовы пальцы» похожи. Разложил их под матрацем и улегся спать. Решил: ночью перенесу. На беду, в ту же ночь братан заболел — все глаз не сомкнули. Утром — гудок, побежал на завод, а динамит оставил. Так и проспал несколько ночей — все случая подходящего выбрать не мог. Похудел аж... — Большие голубые глаза Володи потеплели, на лице появилось мягкое и доброе выражение — Тут-то, Клавдичка, и понял я по-настоящему своего отца. Как ни прятал динамит, а скрыть не удалось, отец все узнал: то ли видел, что тревожусь, то ли случай... Прихожу как-то домой, а отец мрачный. «Ты что же отцу родному довериться боишься?.. Ну, удружил, сынок... Давно за тобой приглядываю — думаешь, не знаю, что в боевой дружине состоишь, оружие прячешь, за шпионами охотишься... Молчу, потому как одобряю. А на динамите спать-то нечего: не перина, поди! Спрятать нужно, уложим так, что и комар носу не подточит!» — Володя заулыбался, добавил с нежностью: — Товарищ он у меня настоящий!

— Завидую тебе, — задумчиво ответила Клавдия. — У меня дома этого нет. Мама добрая, очень добрая, детей-то восемь душ, с ног сбивается. Да, хорошая она у меня, но только... Не понимает меня. Все кричит: «Смотри на каторгу угодишь!.. Срам-то какой падет на семью. Кто девок возьмет, если каторжанкой будешь?» — Клавдия вздохнула. — Жаль ее, а что поделаешь...

Она налила в стакан свежего ароматного чая и отрезала кусок теплого морковного пирога. Крепкими белыми зубами откусила пирог и запила чаем.

«Видно, забегалась Клавдичка, если толком поест не смогла», — подумал Володя и молча подложил ей еще кусок пирога. А потом спросил:

— У нас в печке щи горячие... Может, попробуешь?

— Некогда, Володя. Дел много. — Она помолчала. — Нужно сделать пять бомб. Простые фитильные с бикфордовым шнуром. Лучше в трехдюймовых шрапнельных банках — сработать их придется. К пятнице управишься?

Володя кивнул, не вдаваясь в расспросы.

— И еще вот что... Богадельне нужна веревочная лестница, — продолжала Клавдия. — Надежная, аршин на десять... — Она достала из кармана чертеж. — По этим размерам... Видишь? Вот два крюка отковать. Михалыч поручил подготовить побег Трофимова, Меньшикова и Глухих. Они теперь в башне, военного суда ждут. — Голос Клавдии звучал сухо, излишне деловито. — Сам знаешь, за экспроприацию...

Володя побледнел: смертная казнь! Ужасно все обернулось... Только что же это? Зачем столько бомб? Неужели штурм тюрьмы?

— Будешь с дружиной участвовать в побеге, — объясняла Клавдия. — Прикроете отход товарищей. Завтра в восемь у Кафедрального собора передам ящик с браунингами. У тебя лежат берданы, так ты их тоже достань... Думаю, Володя, без лесных братьев нам не обойтись... А связь с тюрьмой беру на себя... Михалыча на днях могут перевести в Николаевские роты. Торопиться нам надо, каждый час дорог. Побег постараемся приурочить к дежурству Янека. Давай, Володя, вечером с ним встретимся. — Она помолчала и еще раз повторила: — А все же без лесных братьев не обойтись: дружина поредела от арестов... Да, Володя, еще... Будем в Городском театре разбрасывать листовки о выборах во вторую Думу. Передам их тебе завтра, а ты уж подбери ребят покрепче — Мотырева, Архиреева... Так приказал товарищ Артем... Не следовало бы тебя трогать — побег, но людей мало.

— Ничего, Клавдичка, выдюжим, — баском сказал Урасов. — Сама гляди не сорвись.

Ближе к окраине Перми, на Разгуляе, высились кирпичные казармы. Над массивными железными воротами красовался двуглавый орел. Чуть наискось торчала полосатая караульная будка.

Вечерами у казарм молодежь собиралась на гулянья. Тол-

пились солдаты, свободные от дежурств. Стайками мелькали подростки в засаленных полупальто и барашковых ушанках. Лузгая семечки, павами проплывали в нарядных шалях дорожные молодки. Дымили махоркой парни, переговариваясь с солдатами и угощая их табачком.

А солдат в Перми в ту зиму оказалось много. Помимо Ирбитского резервного батальона, который большей частью нес караульную службу в губернской тюрьме, местный гарнизон был усилен Псковским полком.

Клавдия с Володей фланировали вдоль казарменных стен с маленькими окнами.

— Ну, Клавдичка, займемся «сибирским разговором»! — Посмеиваясь, Володя протянул ей горсть каленых кедровых орешков.

Клавдия с Володей гуляли здесь не впервые. По заданию комитета девушка вела пропаганду в Ирбитском батальоне, Володя почти всегда сопровождал ее.

Яна Суханека они заметили неподалеку от караульной будки. Был он среднего роста, худощавый, подвижный. Из-под черной бескозырки с белым околышем выбивались вьющиеся волосы. Широкие густые брови подчеркивали голубизну чуть выпуклых глаз. Тонкий нос с горбинкой и маленькие черные усики.

Поляк Суханек помог Клавдии создать первую большевистскую группу среди солдат, распространял в казармах листовки и прокламации.

— Что ж так поздно? — улыбнулась Клавдия.

— Только освободился после наряда...

Не торопясь вышли они из толпы, не торопясь двинулись в сторону вокзала, освещенного электрическими огнями. Электричество в Перми было новшеством, и молодежь любила вечерами поглазеть на «алюминацию».

В пуховом своем платке, в валенцах Клавдия не отличалась от фабричных девушек.

Суханек наклонился к ней, будто рассказывая что-то веселое, а сам ловко извлек из кармана ее шубейки тонкие шуршащие листовки. Сунул их за шинель. Встречные солдаты провожали его завистливым взглядом: ишь какую раскрасавицу отхватил! А Клавдия, храня на лице веселую улыбку, тихо и быстро говорила:

— Дела плохи, Янек. Трофимова, Меньшикова и Глухих ожидает военный суд. Приговор может быть один — смертная казнь. Побег будем устраивать в твоё дежурство. Хорошо,



если б попал в охранение наружной стены: товарищи спустятся по веревочной лестнице...

— Трудно, Клавдичка, сейчас все больше ингушей назначают,— нахмурился Ян.— Тяжело с ними — по-русски не знают, темные, фанатичные.

— И все же нужно, Янек. Ведь жизнь...— Голос ее дрогнул.— Давай подумаем, как лучше. Надо еще раз проверить толщину стены, а то я уже крюки заказала. Как приняться за побег, Янек? Ты ведь хорошо знаешь все подступы к тюрьме...

Клавдия вдруг умолкла. Янек вытянулся перед офицером, Клавдия кокетливо ему улыбнулась. Их благородие был навеселе. Видать, кутнул в вокзальном буфете. Офицер небрежно кивнул Суханеку, Клавдию же оглядел внимательно. Солдат с девицей близ вокзала — явление обычное. А девица, черт подери, куда как хороша. Да и солдат — орел, ничего не скажешь...

— Пронесло! — облегченно вздохнул Суханек.— Молокосос новоиспеченный, житья от него нет. Пойдем отсюда. День воскресный — офицеров полно в буфете... Как это я сразу-то запамятовал... Ну, слушаю, Клавдичка, говори.

— В башне Трофимов в одиночке. Вот уточним обстоятельства. Надо будет передать ему план побега. Ты знаешь как...— И просительно добавила: — Может, скажешь, когда Михалыча переведут в Николаевские?..

Неторопливо шествуют барышня и солдат. Влюбленно. Барышня встряхивает тугими косами, улыбается. Солдат поглядывает по сторонам: не напороться бы на офицера. А Володя Урасов, надвинув на глаза пыжиковую ушанку и подняв воротник бобрикового полупальто, следует позади: охраняет Клавдичку, мало ли что...

Поднялся ветер и начал раскачивать на прямой как стрела улице редкие деревья. На чернеющем небе появились первые звезды. Стало холодно.

— Значит, до завтра! — сказала Клавдия.— На старом кладбище.

Клавдия вздрогнула: от мрачного склепа отделился человек, шагнул навстречу. Вглядевшись, узнала Володю. Под тенью разлапистой ели — Ян.

Светил молодой месяц. Среди белых холмиков чернели покосившиеся кресты. Клавдия, оступившись, увязла в сугробе. Володя помог ей найти едва приметную стезю.

— Осторожно,— предупредил он.— Скоро обрыв.

Старое кладбище раскинулось на юру. В низине тускло мерцал лед Егошихи. За глубоким оврагом желтели подслеповатые оконца тюремных корпусов.

Здесь все знакомо. В оврагах близ Егошихи Пермский комитет не раз проводил солдатские сходки. Охранять их поручали Володе и дружинникам. Он, бывало, с маузером вышагивал тут, среди могил, проверяя часовых.

Мрачной громадой надвигалась тюрьма. И овраг делался все страшнее и глубже. С этой глухой стороны Клавдия задумала подойти с дружиной.

— Не люблю кладбище.— Клавдия зябко повела плечами.— Да еще зимой и ночью.— И, показывая на овраг, спросила: — Удобное место выбрала?

— Нет, здесь не годится. Провалим дело,— возразил Суханек.— Может, попробуем с Вознесенской?

— Ну, уж надумал, а там всегда народу-у-у... А про караулку забыл?..— Клавдия покачала головой, взглянула на Володю.

— Он верно говорит,— сказал Урасов.— Пошли. Сама увидишь.

## «Черные вороны»

Январским вечером 1907 года трехъярусный городской театр был полон. Давали пьесу «Черные вороны». Местный сочинитель, скрестив на груди руки, стоял в губернаторской ложе. Пьеса имела шумный успех. Запутанный узел ужасных преступлений распутывал красавец сыщик, в котором пермяки без особого труда узнавали бравого ротмистра, зятя губернатора...

Попасть на премьеру было трудно. Накануне Клавдия с Володей чуть не допоздна торчали у кассы. Володе наконец удалось взять места на галерке для дружинников, а Клавдии — в бельэтаже.

И вот Клавдия в синем нарядном платье с белоснежными манжетами и шитым воротничком сидит во втором ряду кресел бельэтажа. Ее соседом оказался студент горного училища, прыщеватый блондин с широким добродушным лицом. Клавдия припомнила, что зовут его Петром и что они виделись на ученических сходках.

— Вот уж не чаял вас здесь встретить! — удивился Петр, протягивая руку с обручальным кольцом на безымянном пальце. — Я слышал, у вас неприятности. Какая-то там глупейшая история... — И округлил глаза. — Неужели пришлось оставить гимназию?

— Бывает... — усмехнулась Клавдия. — Но нет худа без добра: я теперь на фельдшерских курсах при Александровской больнице. Премного довольна.

— О, вы сразу станете самостоятельным человеком. В нашей полуварварской России женщине получить образование, смею заметить, не так просто... Нужны радикальные реформы, живительные факторы...

«Болтун. Все еще от либеральных фраз отказаться не может», — неприязненно подумала Клавдия, искоса взглянув на соседа, и, смешливо наморщив высокий лоб, спросила:

— Вы весь вечер будете разговаривать о проблемах женской эмансипации?

Студент смутился, густо покраснел. Помолчал и, натянуто улыбнувшись, заметил:

— Трудно приходится с вами, Клавдия. Просто не знаю, о чем говорить. — И вновь оживился: — А помните наши гимназические встречи на Сибирской? А наши сходки — как все было бурно и революционно!

«Теперь на всю жизнь возгордится, что реалистом побывал на сходке. Болтун», — покривилась Клавдия. — А впрочем, хорошо, что меня с ним видят. Он так благонамерен и благонадежен. К тому же обручен». И Клавдия неожиданно расхохоталась.

— С чего это вы? — обиженно поинтересовался Петр.

— Расскажите лучше о невесте, если, конечно, возможно.

— О, это романтическая история!

Клавдия слушала его рассеянно. Она все чаще подносила к глазам перламутровый бинокль и поглядывала на галерку. Ждала Урасова с дружинниками. Кресло ее в бельэтаже располагалось как раз напротив мест, купленных Володей.

Театр шумел, ярко освещенный и праздничный, а дружинники все еще не появлялись. Клавдия начала волноваться.

Приглушенно перекачивался по театру гул... Колыхался парусиновый занавес, который скрывал второй — малинового бархата. Цветные прожектора выхватывали рекламы, переливчато синеющие на парусине.

«Посещайте пермский Мюръ и Мерилизъ Агафурова!»

«Посещайте торговый домъ Грибушиныхъ!»

«Пользуйтесь пароходами братьевъ Каменскихъ!»

Клавдию всегда смешили эти рекламы. Пермское купечество даже «храм искусства» использовало столь радикально!

«Пермский Мюр и Мерилиз Агафурова»,— подумала Клавдия, усмехнувшись уголками рта.— Махровое мещанство. Провинциальный город не хочет отставать от столицы. Главная улица — Сибирская — все чаще величается пермским Невским проспектом. Планировку города сравнивают с Нью-Йорком. Да, да. На днях лишь было в «Пермских ведомостях», что «Пермь построена правильнее Нью-Йорка, ровные, большие кварталы, прямое и параллельное направление улиц и переулков»... Когда-то так выразился Мельников-Печерский, и сколько лет слова эти не сходят со страниц газеты. А город грязный, запущенный. Местные богатеи очень своеобразно его украшают. Братья Каменские, которые и зимой призывают пользоваться услугами пароходства, подарили городу тюремную церковь. Не новую школу, не больницу, а тюремную церковь!.. Сколько шуму поднялось в газете! Новая каменная церковь в тюрьме взамен старой деревянной!»

Клавдия от возмущения покраснела: ханжеству и лицемерию нет предела. И опять она подумала о главном.

Трудно приходится работать в подполье: либералы отшатнулись. Квартиру для конспиративных встреч и то найти невозможно. Либералы перепуганы насмерть, а болтать и словоблудствовать не могут отвыкнуть.

И Клавдия вновь недружелюбно поглядела на своего соседа, который не отрывал глаз от ложи, где наконец-то появилась его невеста.

«Или вот сочинитель, тоже был в оппозиции. Здесь, в театре, пламенные речи произносил о свободе. Год с небольшим прошел... И теперь пописывает глупейшие пьески и, наверное, счастлив, что удостоился быть приглашенным в ложу губернатора».

Театр гудел. В ложе жеманились чернобровые дочери миллионера Грибушина, окруженные хлыщеватыми офицерами. Грибушин покупал ложу на весь сезон, и дочери его появлялись всегда разряженные, как куклы.

На ярусах на алом бархате выделялись зеленоватые мундиры студентов, потертые гимназические тужурки, белые пелерины выпускниц Мариинской гимназии. Поблескивали начищенными пуговицами чиновничьи вицмундиры. Да, вся либераль-

ная Пермь собралась в театре. Но есть и рабочие. Клавдия видела их на ярусах. Хорошо!

Большая хрустальная люстра переливалась всеми цветами радуги. Нет, положительно пермское купечество ни в чем не хочет отстать от столицы!

Вновь к ней обратился Петр. Клавдия кивнула головой, не вслушиваясь в его слова, и увидела Володю с боевиками. Наконец-то!

Пересмеиваясь, они рассаживались в первом ряду галерки, вдоль которого тянулась легкая металлическая сетка. Приметила, как Володя положил в сетку программу и начал оглядывать зал. На его тонком красивом лице она не уловила волнения. Клавдия старательно навела бинокль, пытаясь поймать его взгляд.

Оркестр занял свои места. Взвился рекламный парусиновый занавес. Свет в зале медленно угасал. Хрустальная груша потускнела, покрылась красноватыми огоньками и почернела. В зале стало темно. Послышался шорох, и вдруг «белые голуби» закружились над ярусами.

— Свет! Дайте свет! — громко требовали из губернаторской ложи.

Зал вспыхнул ярким огнем, который после полумрака показался нестерпимым. Все ниже и ниже опускались белые листки папиросной бумаги. Снежной метелью танцевали они над партером. Публика пришла в движение. Многие вскочили, стараясь поймать листовку. В проходах засуетились полицейские. Вид у них был комичный. И Клавдия не могла сдерживать улыбки: грузные фараоны, нелепо растопырив руки, гонялись за листовками.

Клавдия услышала громкий щепот за спиной. Она оглянулась, руки ее крепко впились в бинокль. Переговаривались студенты. Один из них, смуглый и чернявый, близко поднес к глазам листовку и начал читать вслух:

*Российская социал-демократическая рабочая партия!  
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

ТОВАРИЩИ И ГРАЖДАНЕ!

Подходит час, когда вы должны будете сказать, кому доверяете вы защиту ваших интересов, интересов родины.

В смрадном тумане, каким окутала Россию кроважадная шайка беспардонных воров и палачей, трудно разглядеть, где друг, где враг. Ясно одно, что нельзя голосовать за людей, которые добиваются, чтобы порядки в России оставались такие, какие они теперь. Только заведомый враг и предатель родины будет голосовать за черносотенцев...





— Правильно! Валяй, дружище, дальше,— поддержал его товарищ.

...Полное народовластие вместо царских башибузуков; всенародное учредительное собрание вместо безвластной Думы — вот чего будут добиваться представители рабочей партии.

Граждане избиратели, голосуйте за следующих лиц, за кого ручается Пермская организация Российской социал-демократической рабочей партии.

*Пермский комитет РСДРП.*

Голос замолк, зашелестела бумага.

— Обожди, не прячь листовку. Прочти, что там напечатано на обороте. Вот они, списки кандидатов в Государственную думу от Российской социал-демократической рабочей партии. Так... Ничего не скажешь — молодцы!

Клавдия подняла глаза и увидела улыбающееся лицо Володи. Казалось, он с любопытством поглядывал на переполох в зале. Девушка еще раз взглянула на него: доволен, очень доволен.

Да, действительно славно получилось. Снегопад из листовок устроил и момент выбрал так удачно. Хорошо начали предвыборную агитацию во вторую Государственную думу, теперь списки дойдут до рабочих. Недаром у многих такие довольные лица...

По зеленой дорожке на корточках ползал старик капельдинер. Он подбирал листовки и складывал их в аккуратные стопки.

«Зачем это?»

Полицейских становилось в зале все больше. И вот на галерке показалась взъерошенная раскрасневшаяся физиономия. Полиция — на галерке! Володя не ушел. Все так же посмеиваясь, поглядывал он в зал.

«Значит, не смог выбраться», — поняла Клавдия и горестно вздохнула.

Шум и крик на галерке нарастал. Полицейские поднимали всех, сидевших в первом ряду, и выводили из зала. Клавдия заволновалась, лоб ее покрылся мелкими бусинками холодного пота. Наверняка арестуют... Грузный полицейский с пушистыми усами наклонился к Володе и что-то требовательно приказывал. Она видела, как Володя протестовал, как отрицательно качал головой, насмешливо улыбался и наконец неохотно поднялся.

Клавдия сорвалась с кресла и, подхваченная толпой, через узкие двери очутилась на лестнице. Ее охватило леденящее чувство одиночества, когда мимо нее проводили арестованных. Провели Архиреева, Фирулева, каких-то гимназистов, студентов и, наконец, Володю Урасова. Клавдию душило волнение. Ничто так не унижает человека, как чувство бессилия. Тяжко видеть товарищей в беде и не помочь им... Надо что-то придумать: предупредить отца Володи...

Володя шагал с оскорбленным видом, заложив руки за спину. Рядом с полицейским мельтешил человек, лишенный возраста и особых примет, и, поглядывая бесцветными глазами на юношу, торопливо приговаривал:

— Уверяю вас, кидал этот, в сапогах и плисовых шароварах... Я видел, сам видел...

Володя встретился глазами с Клавдией. Тепло и мягко посмотрел на нее. Ни единым жестом, ни единым словом не выдал своего знакомства. Он прочел в ее глазах тревогу и, будто желая ее успокоить, начал звонко отругиваться:

— Ну и что, плисовые шаровары и сапоги... Это надо доказывать... Наговорить всякое можно... Подумать только — пришел человек в театр, а его тащат в полицейский участок... — И, насмешливо оглянувшись по сторонам, добавил: — Вот тебе и премьера... А я почти весь день за билетами простоял...

— Шестнадцать человек арестовали... Ну, уж господа хорошие распоясались, — зашептал Клавдии Петр, оказавшийся с ней рядом в вестибюле.

— А вы не шепотом, вы погромче, — не смогла сдержать раздражения Клавдия и, резко повернувшись, пошла в зал.

Старик капельдинер сунул ей в руку листовку, привычно прогнусавив:

— Программку, пожалуйста, на сегодня...

Клавдия чуть замедлила шаг и увидела, как добросовестно раздавал листовки старик, пряча мелочь в карман расшитой галунами тужурки.

— Что ты делаешь? — зашипел в бешенстве околоточный, выхватывая листовки у капельдинера.

— Раздаю сюрприз господина Грибушина... Специально для премьеры...

— Что? — взревел околоточный, яростно запихивая их в карман.

— Так мне студент объяснил, — ответил билетер, подняв мохнатые седые брови, и обиженно заморгал глазами.

— Кончай болтать! Не то в «чижовку» угодишь!

Клавдия посмотрела на своих соседей-студентов, сидевших с каменными лицами. Вновь взлетел малиновый занавес. Премьера «Черные вороны» началась...

## «Лесные братья»

Поселок за Камой Клавдия обошла стороной. Последний поселок, затерянный на крутых холмах. В морозном воздухе слышался ленивый лай дворовых псов. Мерцали едва приметные огоньки домишек, задавленных снегом. Доносился стук колотушки ночного сторожа.

Черной громадой поднимался лес. Дикие места. Мрачные. В ночной тишине дрожали смутные шорохи. На Клавдию на-двигались зубчатые тени елей, пугая и настораживая. Серебристая пыль висела в морозном воздухе, слепила глаза. Тре-щали деревья, хрустел снег под ногами.

Немалый путь прошла она в эту звездную, лунную ночь. Обычно ее к «лесным братьям» сопровождал Володя Урасов. Но теперь пришлось идти одной. Шла и вздрагивала от неясных звуков и криков ночных птиц. Временами останавливалась, оглядывая проложенную тропинку, в ночной мгле ей слышались осторожные шаги. Страшилась она и сбиться с до-роги.

Наконец лес начал редеть. Вот и пустырь артиллерийского полигона, похожий на белую скатерть. Идти было тяжело. Оврагом вышла Клавдия на закованную льдом Гайву. И опять стеною встал лес. Теперь надо разглядеть малинник. Только различить его под снегом не так-то просто. Она круто поднялась на холм и стала разыскивать тропку, запорошенную снегом, тропку, что ведет к землянке «лесных братьев»... «Эх, если бы рядом был Володя!» Клавдия вздохнула. Не удалось ей предупредить Александра Ивановича — дом был окружен. Володю уже перевели из полицейского участка в губернскую тюрьму. Сделали дома обыск и на чердаке нашли оружие. Хорошо, динамит не обнаружили в тайнике, а то бы верная каторга. Жаль Володю. А на отца его, Александра Ивановича, тяжело смотреть — так изменился за эти дни. Клавдия встретила его на Вознесенской: шел с передачей в тюрьму.

Сразу же после ареста Володи в городском театре в дом на Большую Ямскую нагрянула полиция. Составили протокол, а на ночь оставили засаду — троих полицейских, злых-презлых.

Один из них взял с этажерки коробку с папиросами. Папиросы? Откуда? Вот эти-то папиросы и огорчили Александра Ивановича. Он держал Клавдию за пуговицу жакета и заглядывал в глаза:

— Клавдичка, скажи правду. Неужто Володька курит... Баловаться начал!

Клавдия улыбнулась: великое родительское сердце! Сын в тюрьме, а отец все беспокоится, как бы курить не начал!

— Да и папироски какие-то чудные,—пожал плечами Александр Иванович.— Выкурили полицейские их и заснули... Да так заснули, что едва разбудить удалось, когда утром смена пришла.

И тут Клавдия сразу все поняла. Смеялась громко, до слез.

— Не волнуйтесь, Александр Иванович! Не курит Володя... Здесь хитрость одна.

Александр Иванович успокоился, приподнял ушанку и пошел к тюрьме. А Клавдия долго смотрела ему вслед. Папироски-то эти она приносила Володе, и были они особенными. В табак подмешивалось снотворное; она тайком доставала его в Александровской больнице.

Возьмет Володя пачку папирос и пойдет с боевиками ночью по темным переулкам угощать постовых полицейских. Заведет вначале разговор, а потом уж и папироску предложит. Выкурит полицейский такую папироску и через полчаса заснет. А Володя, притаившись в стороне, ждет этой минуты. Тихонько, на цыпочках подойдет и острым ножом обрежет смит-вессон... Оружия у боевиков мало...

Тяжело взмахнув крыльями, взлетела с ели сова. Хрустнула сухая ветка, и Клавдия заметила дрожащую тень. Послышались осторожные шаги.

— Кто здесь? — не выдержала она, выхватив пистолет из кармана.

На залитую лунным светом поляну вышел мужчина в овчинном полушубке и больших валяных сапогах.

— Лбов! — воскликнула Клавдия и бросилась навстречу.

— Клавдичка! — радостно отозвался мужчина и крепко расцеловал девушку.— Почему одна по ночам расхаживаешь? Где Володька-то?

Клавдия опустила голову.

— Молчишь... Угу, понял! Взяли Володьку... Так? Да? — проговорил Лбов.— А может, что похуже?.. Говори ты ради бога! А?

— Арестовали. В театре. Когда листовки разбрасывал...

— Н-да... Хороший он паренек... Вот сволочи...— И спохватился: — Замерзла небось да и страху-то натерпелась... Идем-идем!

Землянка едва виднелась среди сугробов. Лбов обломил ветку, замел следы. Неторопливо открыл маленькую дверцу, пропустил Клавдию.

Внутри землянка оказалась просторной: грубо сколоченный стол, длинная скамья. Горела оплывшая свеча. Вдоль бревенчатых стен тянулись нары, на них спали «лесные братья».

Шум разбудил их — из-под овчинных полушубков показались лохматые головы.

— А, Клавдичка! Клавдичка пришла!

Клавдия узнала Ваню Питерского. Он присоединился к отряду недавно, после разгрома патронной мастерской на Охте, в Петербурге. Вот его и прозвали «Питерским». Его любил Лбов.

Огромные тени заходили по стенам, к столу стали подсаживаться «лесные братья». Молодые, смелые. В декабрьские дни они были дружинниками и геройски сражались на баррикадах в Мотовилихе. Сам Лбов бился на Висиме до последнего патрона. Он командовал боевиками, когда солдаты и казаки шли на штурм. Баррикада на Висиме была последней, которую заставили замолчать...

До восстания он работал на мотовилихинском заводе. Поступил на завод сразу же, как только вернулся с военной службы.

— Отслужил царю старшим унтером в лейб-гвардии,— приговаривал на баррикаде Лбов, целясь из маузера в карателей,— теперь и рабочему классу послужить нужно.

Стрелок он оказался отменный и военное дело знал. Трудно пришлось карателям. «Могутный человек, право же! — думала Клавдия, глядя на него.— Могутный!»

В декабрьские дни власти объявили его вне закона, за поимку обещали крупную награду. Но народ оберегал его...

После поражения революции Лбов не захотел сложить оружия, как не захотел признать поражения. Ушел в лес. Вместе с ним ушли боевики, за которыми числились убийства царских чиновников и жандармов. Так возникли в лесах близ Перми «лесные братья», объявленные государственными преступниками; все они подлежали смертной казни в случае поимки.

Но Лбов не прекратил борьбы. Баррикада передвинулась

в лес. Совсем недавно к «лесным братьям» присоединились пи-терские боевики. Пермский комитет собирал деньги, помогал «лесным братьям». Клавдия держала связь между «лесными братьями» и комитетом.

— Как живы-здоровы, товарищи? — радуясь свиданию, сказала Клавдия.

Лбов грузно опустился на скамью. Высокий и широкоплечий, он невольно сутулился за низким столом. Иссиня-черные волосы лежали крупными волнами на плечах, жгучая черная борода делала его похожим на Пугачева.

— Жалко Володьку... Помню, как-то мы пригласили его на явку в Старую Слободку и начали требовать динамит и винтовки.— Лбов погладил пышную бороду.— Посмотрел я на него — паренек безусый. А паренек-то нам динамит не отдал... «Без решения комитета не могу!» Всего лишь и сказал. Как отрезал. И баста! Я его еще тогда похвалил: «Молодец, парень, дисциплинку чувствуешь»... Эх, Володька...— Лбов грохнул по столу кулаком.— Как я их ненавижу!

Клавдия достала пакет, заколотый английской булавкой:

— Вот деньги от комитета. Держи, Александр Михайлович, здесь пятнадцать рублей. Это тебе Богомаз передал вместе с приветом. А это гостинцы.— Клавдия отвела глаза: гостинцы-то были от нее.— Здесь сушки, домашнее печенье... А теперь получайте письма из дома.

Лбов зажег еще одну свечу, поставил ее в железную кружку. Землянка сразу сделалась больше и просторнее. Письма расхватали мгновенно.

— Ну, Клавдичка, выкладывай новости. Да смотри, чтобы хорошие,— сказал Лбов, заметно повеселевший после весточки из дома.

Клавдия улыбнулась. Знала, как жадно ждут «лесные братья» рассказов о городе, как стосковались они о близких.

— Видела Михалыча в свиданной. Похудел страшно: глаза да нос. Сейчас его в Николаевские роты перевели...

«Лесные братья» хорошо знали Свердлова: не раз приходили из чащобы в Мотовилиху послушать Михалыча... В землянке стало тихо. Лбов гневно тряхнул черной гривой.

— Почему не отбили? — в упор глядя на Клавдию, спросил он, и лицо его передернулось.

— Ну, отбили... Суда еще не было, серьезных улик пока нет...

— Бежать должен... Бежать, а мы поможем,— настойчиво



продолжал Лбов.— Михалыч смелый, а для побега и нужна одна смелость. Все эти фараоны дрожат, когда видят смелого человека. Помню, как-то зашел я в Мотовилиху. Вечереет. Иду по улице, а товарищу моему страсть как курить захотелось. Кинулся он в карман — спичек нет. Огляделся — на посту полицейский. Подошел я и спросил: «Дай прикурить!..» А у него аж руки задрожали. Узнал, сволочь! — довольно басил Лбов, морща высокий лоб.— Дает спичку, а сам глаз от меня отвести не может, как от девки... Ну, закурил мой товарищ, и мы пошли вразвалочку. Знаю, стрелять не станет. Рука не поднимется...

— Обожди, Александр Михайлович,— перебила его Клавдия.— Дело есть серьезное. Троицким нашим смертная казнь грозит. Михалыч поручил организовать побег. Но почти все дружинники в городе арестованы. Вот и наш Володя... При обыске оружие нашли... Я тут вам листовку принесла — ее-то и распространяли в театре.— И Клавдия положила на стол папиросный листок, полученный от капельдинера.

— За что же Трофимова пеньковая веревка ждет? — прервал ее Стольников, натягивая на могучее плечо полушубок.

Стольников Клавдия уважала. Был он правой рукой Лбова, его другом и советчиком. Не задумываясь, шел за ним всюду. Лбов любил его, как брата, за отвагу и щедрое сердце. Она посмотрела в широко раскрытые голубые глаза Стольникова и начала самую трудную часть разговора:

— Трофимов с товарищами шел на экспроприацию. Для партии нужны были деньги. Их необходимо отобрать силою. Только неудачно: кто-то предупредил охранку, и они напоролась на засаду. Была перестрелка, убит Обухов с Мотовилихи. Товарищей арестовали. Их ждет военный суд, наверняка приговорят к смерти.— Клавдия придвинулась к Стольникову: — Времени у нас в обрез. Они сидят в башне. Окно камеры выходит на Анастасьевский. Все готово. Установили связь с солдатом караульной службы. Бежать будут в его дежурство. Но без вашей помощи не спасти их...— И, прижав руки к груди, горячо добавила: — Дело трудное. Показываться вам в городе опасно, смертельно опасно. Все понимаю. Мы ведь думали обойтись дружинниками... А теперь что же? Ждать невозможно, каждый день приговор... Товарищей при побеге нужно прикрыть.

Лбов молчал. Казалось, он хотел послушать, что скажут друзья. Клавдия посмотрела на него. Лбов, потупившись, обхватил руками горячую кружку.

— В комитете мне сказали так: дело для лесных братьев рискованное. Пускай решают сами.

— Не торопи... Помозговать нужно.— Лбов пил большими глотками горячий чай, похрустывая сушками.

— Надо идти, товарищи! Не можем мы, как лешие, в глухомани сидеть,— резко сказал Ваня Питерский,— надо помочь... И думать тут нечего.

Тикали карманные часы на грубо сколоченном деревянном столе. Пар поднимался над кружками. Плыли сизые клубы махорочного дыма.

— А в общем, вперед — мое любимое правило. Вперед, как учил Суворов,— могучим басом сказал Лбов и вновь стукнул тяжелым кулаком по столу.— Давай, Клавдичка, выкладывай. Лесные братья не оставят товарищей в беде. Пойдем на штурм Пермской бастилии, а Клавдичка нас поведет!

— Я так и думала, товарищи. Спасибо. Только тебе, Александр Михайлович, лучше в лесу остаться,— осторожно начала Клавдия, взглянув на молчаливого Стольников.

— Конечно, Александра не возьмем,— подтвердил Стольников.— Пусть домовничает.

— Живем вместе и умрем вместе. Лбов — не двух лет по третьему. Выкладывай, Клавдичка.— И он обнял Стольников.

Клавдия разложила на столе план тюрьмы и Вознесенской улицы. Жирным крестом пометила караульное помещение, обвела кружочком «башню».

— Побег назначен на вторник. У нас два дня. У Сибирского тракта буду встречать в семь вечера. Передам бомбы... А уж все остальное на месте. Только порядок и дисциплина, товарищи.— Она помолчала и добавила: — Ну, давайте письма, я потапаю...

## Т р и а б а ж у р а

Розвальни остановились. Клавдия, закутанная в белый пуховый платок, вскочила в них. Лошади рванули и понесли. Снег больно ударил в лицо. Она сжимала в руках кошелку с бомбами, Лбов нахлестывал лошадей.

Мелькали верстовые столбы Сибирского тракта Позади осталась Сибирская застава с двуглавым орлом. Проскочили деревянный мост и оказались на Разгуляе. Лбов, чуть привстав, лихо размахивал кнутом и покрикивал на низкорослых крестьянских лошадей.

У низины, после Разгуляя, лошади замедлили бег. Клавдия оставила кошелку, соскочила с розвальней и показала Лбову на глухой, заснеженный проулок.

— Лошадей привяжи там. Сами к тюрьме. Рассыпаться в садике напротив караулки и ждать меня. Да, телефон не забудьте обрезать.— Она махнула рукой и тотчас исчезла в воротах двухэтажного дома...

Поодиночке, спрятав оружие под овчинные полушубки, уходили в темноту «лесные братья».

Проходными дворами Клавдия вышла на Вознесенскую улицу. Впереди тускло горели огни — тюремные огни. На углу Вознесенской и Анастасьевского садика темнел деревянный дом чиновника Черногорова.

Клавдия поднялась по лестнице, тихонько постучалась.

За дверью слышались торопливые шаги, дверь отворила высокая худошавая девушка с приветливым широким лицом. Подруги обнялись.

— А я уж беспокоилась,— сказала Антонина,— думала, не случилось ли недоброе.— И прошептала: — Ой, Клавдичка, боюсь я за тебя...

Клавдия, отстранившись, торопливо вошла в освещенную комнату. Под низким абажуром на столе нехитрый ужин со стаканом горячего чая. Комната была угловой, и широкое венецианское окно выходило на Вознесенскую улицу. Окно это приходилось напротив «башни» Пермской губернской тюрьмы.

В квартире Соколовых, которые снимали ее в доме Черногорова, Клавдия появилась не случайно. Отсюда она держала связь с заключенными: Клавдия придумала систему трех абажуров — желтого, красного и зеленого. Зеленый абажур должен служить сигналом побега... И вот час настал, Клавдия едва сдерживала волнение.

— Клавдичка, я ужин собрала. Садись, садись,— хлопотала Тоня.

— Спасибо.

— Чаю, чаю выпей...

Настенные часы пробили половину восьмого. Клавдия погасила лампу. И сразу же в чернеющей темноте замерцало оконце камеры Трофимова. Клавдия порывисто сняла абажур с лампы. Тоня дала ей другой — зеленый. Клавдия кивнула: да, сегодня, как условлено, зеленый... И она широко отдернула тюлевую занавеску. Прижалась лицом к холодному стеклу.

Темь, непроглядная темь... И там вдалеке — у тюремного окна — друзья.

Лампа стояла на подоконнике, освещая Клавдию снизу широкой зеленоватой полосой — ее напряженное лицо, ее плотно сжатые губы.

Тоня крепко обнимала подругу. И тоже смотрела в зимнюю темь: там, в одной из одиночек «башни», сидел ее жених... но вот в камере заколебался свет, призрачный, неживой, моргнул и погас: сигнал принят.

Клавдия перевела дыхание.

— Спасибо, Тонечка. Прощай! Спасибо...

— Помни, Клавдичка, я одна дома... — быстро проговорила Антонина. — Может, понадобится... Жду тебя...

— Спасибо. Дверь пока не закрывай.... Мало ли что может произойти. — Клавдия поцеловала Тоню и выбежала из комнаты.

Над городом висела густая вечерняя мгла. Кругом было тихо, безлюдно. Впереди мрачно чернела тюрьма. Клавдия свернула с тропинки Анастасьевского сада в узкий проход между сугробами, раздвинула ветви, увидела Ваню Питерского. В руках у него была веревочная лестница.

Среди кустов и сугробов залегли вооруженные «лесные братья» и питерцы. Клавдия выпростала из кармана шубейки браунинг, всмотрелась в одинокую фигуру: часовой прохаживался у тюремной стены.

Послышалась резкая отрывистая команда: происходила смена караула.

У тюремной стены, освещенной блеклым фонарем, появился новый часовой: Ян Суханек занял свой пост.

...Ожиданием жили в этот вечер не только «лесные братья» и Клавдия Кирсанова. Ожиданием жили и узники «башни» — Трофимов, Глухих и Меньшиков. Рабочие-боевики, они по заданию Пермского комитета пошли на экспроприацию. За это полагалась смертная казнь — они знали об этом... И все же пошли... Пошли, если нужно...

Беспокойство началось с того дня, когда через «волчок» в шестую камеру на каменный пол упала записка. Трофимов, позванивая кандалами, медленно подошел и поднял ее. Цепи на руках мешали. Он молча кивнул Глухих, и тот, подтянув канальный ремень, чтобы меньше слышался звон, двинулся к «волчку». Заглянул через «волчок» в узкий тюремный коридор. Потом повернулся спиной и закрыл его за тылком.

Трофимов развернул записку. Почерк, похожий на вязанье, — почерк женский. Он подошел к керосиновой лампе, висевшей над столом. Откашлялся.

«Дорогие товарищи! Сердцем всегда с вами. Любим и гордимся. Примерно через неделю будем встречать в Анастасьевском садике. Сигналом послужит зеленый свет на абажуре в третьем окне от угла в доме чиновника Черногорова на Вознесенской. Ждите после семи. Готовим лестницу и железные крюки. Действуйте решительно и вспоминайте побег Баумана. Мы верим в вас... До встречи, друзья, на воле! Наташа».

— «На-та-ша»! — повторил Трофимов. — Понятно — это же кличка Клавдии Кирсановой. Значит, она готовит побег...

С этого дня и началось ожидание. С этого дня и воскресла надежда. Вскоре в «волчок» упал план «башни» и путь побега. Бежать нужно вниз по железной лестнице. Направо входная дверь, она и приведет к тюремной стене...

День побега приближался. Трофимов с блестящими глазами ходил хмельным от счастья. Говорил он мало, только удивленно встряхивал крупной головой и пожимал плечами. Даже Меньшиков, осторожный и самый старший среди них, все чаще мечтал о доме. Воля, жизнь, друзья!

Одно лишь их беспокоило и мучило: как уйти без товарищей?!

Здесь, на «башне», в каждой камере замурован друг. Правда, смертная казнь пока угрожает лишь им одним. Но уйти и не помочь политическим так трудно, что и высказать невозможно! И Трофимов разработал свой встречный план.

Меньшиков и Глухих одобрили его.

Февральским днем в камеру принесли заснеженный туесок. Трофимов сразу начал его прощупывать. Глухих, по обыкновению, закрыл «волчок» затылком.

— Ура! — Трофимов вынул из берестяной коры две гибкие стальные пилки. Вскинул их на ладони и с чувством добавил: — Великое дело — рабочая солидарность!

— Запомним день десятого февраля, — в волнении сказал Меньшиков.

Глухих не удержался и заплакал. Трофимов молча положил руку на плечо друга. Потом подошел к Меньшикову, сел на табурет, прикованный цепью к стене, и начал распиливать кандалы. Глухих стоял у «волчка». День выдался удачный. В тюрьме дежурил дядька Буркин, старый и добродушный

надзиратель. Он попусту не придирался к узникам, и при нем дышалось легче.

Тихо повизгивала стальная пилка, острая и мелкозубчатая. Она быстро согревалась в руках Трофимова, оставляя едва видимый след на кандалах. Взмах, еще взмах, и с худых синеватых рук Меньшикова упали кандалные цепи, глухо звякнув о каменный пол. Тот почувствовал непривычную легкость и стал растирать разбухший красный рубец. Глаза его молодо сверкнули.

Глухих знаком подозвал Трофимова к «волчку». Нетерпеливо отобрал у него стальную пилку, присел у табурета на пол и начал распиливать ножные кандалы. Башенные часы отбили шестой удар, когда арестованные закончили работу.

Густые сумерки вползали через решетчатое оконце. Темнело. Арестанты поспешно улеглись на нары, ожидая, когда дежурный уголовный зажжет керосиновую лампу. Они натянули серые одеяла, изъеденные молью, под самый подбородок, радостные, возбужденные.

У железной двери остановился надзиратель Буркин. Медленно сползала по блоку закопченная керосиновая лампа. Щелкнул замок, и дверь распахнулась. Уголовный Мухин, с угрюмым и неприветливым лицом, снял стекло, зажег фитиль. Он пониже опустил лампу над квадратным столом и, недоуменно взглянув на спящих «смертников», вышел. Вновь резко щелкнул замок и заскрипела дверь соседней камеры.

Трофимов отбросил одеяло и прыгнул с железной койки, привинченной к полу.

— Давай, браток, к «волчку». — Он кивнул Глухих и, дождавшись, когда тот закрыл «волчок», повернулся к Меньшикову: — Топай, папаша, к окну... Нужно проверочку сделать...

И хотя все понимали, что проверочку делать рано, что до назначенного срока еще более часа, Меньшиков стал под окном. Трофимов ловко влез ему на плечи и ухватился руками за решетку. Прошли томительные минуты ожидания. Наконец он повернулся к товарищам и отрицательно покачал головой.

— Да рано же, черт возьми! — Он прыгнул на пол, виновато поглядывая на друзей. — Еще кипяток не разлили.

— Конечно, рано, — добродушно посмеиваясь в седые усы, подтвердил Меньшиков и быстро приказал: — Ложись!

В коридоре опять слышались гулкие шаги. Началась

раздача ужина. Вновь заходил уголовный Мухин с неприветливым и угрюмым лицом. Он подлил в лампу керосин. Подвинулся на безучастных «смертников». Молчал и надзиратель Буркин: конечно, о чем разговаривать, если людей ждет виселица?

С глухим скрежетом башенные часы пробили семь. Жизнь в тюрьме затихла. Теперь у заключенных остался один час.

В шестую камеру вместе с сумерками пришла тревога. Ровно в восемь надзиратель обычно сдавал ключи в контору — и тогда побег невозможен. Успеют ли товарищи на воле? Кто будет стоять на часах у «башни»? Свой ли человек?..

Первым не выдержал Трофимов. Он встал с койки и начал холщовым полотенцем тщательно протирать стекло. В камере стало светлее. Подкрутив фитиль на лампе, Трофимов вновь вскарабкался на плечи Меньшикова. Крепкими руками ухватился за чугунную решетку. Ледяные прутья обжигали. Глаза неотступно следили за третьим окном от угла. Временами его сменял Глухих. Он подтягивался на руках к окну, держась за решетку. А Трофимов отдыхал, закрывая «волчок».

Хрипло и устало часы отбили еще удар. «Значит, семь часов тридцать минут». И в это время его поманил рукой Глухих. Они поменялись местами. Стараясь не шуметь, Трофимов вновь вскарабкался на плечи Меньшикова, прильнул к окну.

Из темноты в зеленом свете абажура выплывало девичье лицо. Лампа ярко освещала Клавдию. Она казалась взволнованной. Мягко лежали по плечам косы, беззвучно шевелились губы.

Трофимов не мог оторваться от окна. Вместе с Клавдией к ним заглянула жизнь, торжествующая, молодая. Наконец он опустился на пол. Счастливо улыбаясь, вытер вспотевшее лицо, обнял Меньшикова:

— Начнем! Путь свободен. Клавдичка подала сигнал...

Желтый свет керосиновой лампы расползлся по камере. В настороженной тишине Трофимов снял горячее стекло с лампы и раздавил его. Послышался звон, и на каменный пол, сверкнув в темноте, полетели осколки. Трофимов зашепшил к «волчку».

— Эй, дядька Буркин... Дядька Буркин! — хрипловато закричал он. — Стекло на лампе лопнуло.

В «волчке» появился встревоженный глаз. Темнота в камере, густая в дрожащем свете фитиля, озадачила его.

— Подожди... Сейчас принесу... Эка беда! — И надзиратель, громыхая связкой ключей, заторопился в «ламповую», расположенную тут же, в «башне».

Трофимов и Глухих заняли свои места. Тяжело вздохнув, медленно отворилась железная дверь. Они накинулись на надзирателя, схватили, зажали ему рот, потащили к железной койке. Борьба была ожесточенной. Наконец Буркина плотно связали холщовыми полотенцами и заткнули рот кляпом.

— Лежи, дядька... Не хотелось в твое дежурство... Но пришлось, — тихо бросил Трофимов, отбирая у надзирателя наган и связку с ключами.

Гулко стучали по каменному полу тюремного коридора деревянные коты Трофимова. Он взглянул на Глухих и повернул не к выходу из башни, а к одиночкам...

На железных дверях камер мерцали белые номера. Глухих уверенно шел за ним. Витая лестница с входной дверью осталась позади.

Неумело орудуя ключами, Трофимов начал подбирать их к пятой одиночке. Массивные, стальные, они плохо его слушались. Трофимов повертел их в руках, пытаясь разглядеть номер. Но номеров не значилось. Ключи, словно близнецы, лежали на широкой ладони. Махнув рукой, Трофимов стал действовать наугад. Открыть камеры оказалось делом нелегким. Ключи не подходили к замкам. Приходилось вновь и вновь менять их. Каждый замок имел свой секрет. И эти секреты должен был разгадать Трофимов.

В «башне» находилось одиннадцать камер на двух этажах, соединенных витой лестницей. И эти одиннадцать одиночек нужно было открыть Трофимову — иначе он не мог уйти из «башни». Не мог...

Наконец распахнулась первая тюремная дверь.

— Свобода! Выходи, братва! — крикнул Трофимов и двинулся дальше.

Глухих обнял товарищей и начал распиливать кандалы.

В «башне» нарастал шум. Раздавались громкие голоса. Скрипели двери. Звенели кандалы. Во всех камерах у «волчков» стояли заключенные, давали советы, торопили Трофимова.

Пока Глухих распиливал кандалы, а Меньшиков дежурил около надзирателя, Трофимов пытался открыть седьмую камеру. Ключ легко вошел в скважину, но замок зажал его и не выпускал. Трофимов нервничал, тряс дверь, а замок цепко держал ключ.



Послышались чьи-то шаги, и дверь «ламповой» распахнулась. Уголовный Мухин, случайно задержавшийся в этот вечер, испуганно всплеснул короткими руками и сипло прокричал:

— Караул! Спасите!

Трофимов резко повернулся и поднял наган.

— Не стреляй, кормилец. Не стреляй... Вот те крест — не выдам! — И Мухин начал мелко креститься.

— Черт с тобой! — в сердцах бросил Трофимов. — Сиди здесь, пока не уйдем, — и опять завожился с ключами.

И сразу же по витой лестнице раздался дробный стук деревянных котов.

Мухин, воровато озираясь, бежал к дежурному по тюрьме... Трофимов выстрелил. Мухин ахнул, присел и... вновь побежал.

Выстрел гулко разнесся под тюремными сводами. В двери заколотили, забарабанили. Зазвенел пронзительно звонок, и по железным ступеням витой лестницы тяжело застучали сапоги надзирателей.

— Тревога! — крикнул Трофимов. — Уходи, Глухих, в камеру.

Сам он опустился на одно колено и, как в дни баррикад, прицелился в надзирателя, рыжая голова которого появилась в лестничной клетке. Глухих быстро подскочил к нему. В коридоре поднялась ружейная стрельба, сизый пороховой дым заплескал под низкими сводами. Пуля пробила Трофимову плечо. Правая рука повисла. Трофимов упал. Глухих прикрыл собою друга и долго отбрасывал надзирателей, пытавшихся захватить Трофимова. Но вот он покачнулся и медленно осел на залитый кровью пол.

Тяжелым кованым сапогом рыжий надзиратель ударил Трофимова. Тот открыл глаза, мутно посмотрел по сторонам. Услышал стоны Глухих и, собрав последние силы, потащил его в камеру, захлопнул дверь.

«Волчок» осветился ярким пламенем. Это начальник тюрьмы Гумберт выстрелил в «волчок» из браунинга. Надзиратели, тяжело дыша, ввалились в камеру. Первым к Трофимову подскочил Гумберт.

— Ты, сволочь, стрелял?

Дуло нагана плясало перед глазами Трофимова. Потом рукоятка резко опустилась на его голову.

— Отвечать отказываемся... Показаний не даем, — прохрипел Трофимов.

— Дашь, сволочь... Дашь, дашь, дашь! — истерически кричал Гумберт.— Заставим!..

Заключенных били прикладами, кололи штыками.

...Все так же неторопливо вышагивает часовой. Клавдия не отрывает глаз от кирпичной тюремной стены: ждет товарищей. Ваня Питерский наготове держит веревочную лестницу, железные крюки.

— Что-то долго, Клавдичка,— басит Лбов, сверкая темными глазами под густыми, серебряными от инея бровями.

— Ждать всегда долго,— отвечает Клавдия, чувствуя, как ее бьет озноб.

Она еще что-то хотела прибавить, но тут с треском распахнулась дверь караульного помещения, оттуда высыпали солдаты.

— Готовьсь! — крикнул Лбов.

И в ту же минуту Клавдия первым же выстрелом разбила шестигранный уличный фонарь, освещавший караулку. Теперь остался лишь фонарь у полосатой будки. Лбов привстал и сильным движением швырнул бомбу. Яркая вспышка всколыхнула ночную темноту. Послышались крики.

— Держать солдат в карауле... Не подпускать к башне! — прогремел Лбов.

— Башню... башню береги! — прокричала Клавдия и тоже бросила бомбу.

Из караульного помещения ответили ружейным залпом. Ночной бой завязался.

Пригибаясь, Лбов перебежал к тюрьме. Стольников полз следом, не теряя его из виду.

Клавдия вновь с надеждой посмотрела на высокую тюремную стену. Желтоватая полоса от фонаря освещала Яна Суханека.

И вдруг солдат вскинул винтовку, троекратно выстрелил в воздух.

«Что случилось?»

Сердце у Клавдии сжалось. Ян предупреждал об опасности?

И опять троекратно прозвучал выстрел. Клавдии показалось, что Ян замахал рукой и что-то крикнул.

С низины шеренгой двигались надзиратели. Винтовки они держали наперевес. Клавдия поднялась:

— Отходить... отходить...

Лбов одним ударом сшиб ее с ног. И тотчас над Клавдией засвистели пули.

— Тикай, девка,— приказал Лбов.— Ползи, говорят тебе! Я их бомбой осажу! Стольников! Куда прешь на рожон? Назад!

Из караулки ответили залпом. Клавдия поползла к темному проулку. Ваня Питерский с колена бил по черной шеренге. Бил спокойно, деловито.

Вновь всплеск огня разрядил темноту. Клавдия увидела Лбова, сильного и яростного. Он бомбами сдерживал наступление. Пули жужжали над его головой.

— Отходим, Александр Михайлович... Отходим! — вновь кинулась Клавдия к нему.

Лбов, без ушанки, с почерневшим лицом, схватил ее за плечо и круто повернул от тюрьмы. Еще раз взглянул на стену около «башни». Заметил, как Ян Суханек поднял тревогу. Штыком он колот снег, словно оставляя следы пуль. Ему нужно было это оправдание. Лбов понял хитрость солдата и засмеялся. Потом свистнул и, взяв у Клавдии пистолет, отдал его кому-то в темноту.

Клавдия с отчаянием посмотрела на Лбова: провал... Опять провал... Лбов затащил ее в синеющую подворотню у дома Черногорова. Обнял за плечи.

— Прощай! Нам пора уходить... Может быть, махнешь с нами, Клавдичка? — с надеждой спросил он.— Пропадешь здесь...

— Спасибо, Александр Михайлович! Без комитета не могу. Уходи скорее...

— Негоже бегать мне, как зайцу! Много чести фараонам. Ненавижу сволочей!

Выстрелы звучали все ближе. Солдаты караульного взвода прочишали тюремный садик. Лицо Лбова было страшно. Он поднял огромный кулак и погрозил в ночь. Распахнул дверь и бесшумно исчез.

В подъезде Клавдия натолкнулась на Антонину Соколову, бледную, встревоженную.

— Все пропало! — хрипло сказала Клавдия, шатаясь от усталости и волнения.— Не смогли их спасти...

Ветер клонил ветви деревьев до земли, кровавым шаром сверкало солнце.

Клавдия обкладывала зеленой хвоей свежую могилу. Ветки выбирала пушистые, изумрудные. Могила возвышалась на бугре под разлапистой елью. Ель укрывала могилу Вани

Питерского. Погиб он недавно в глухую ночь. Погиб от солдатской пули, попав в засаду. И не стало бесстрашного боевика Вани Питерского...

Хоронили Ваню ночью. Плакала вьюга. Тяжелым, обжигающим руки ломом долбили мерзлую землю. Ваня лежал на сером брезенте. На лице застыла тихая улыбка. Чернела ранка от пули на высоком лбу. Незрячие глаза смотрели в высокое небо, под которым так мало пришлось ему пожить. Долго и безмолвно стояли «лесные братья». Низко склонил голову Лбов, роняя скупые слезы. Он бросил первую горсть земли. Клавдия сплела венок из заиндевелой хвои и положила на не приметный холмик.

С того дня и зачастила Клавдия на старое кладбище.

Клавдия оглянулась на тюрьму, отделенную рвом от кладбища. Вздохнула. И показалось ей, что из решетчатых окон смотрят на могилу Вани Питерского друзья... Смотрят и скорбят вместе с нею... Поклонившись до земли, Клавдия медленно побрела вдоль кладбища.

Еще одна свежая могила привлекла ее внимание. Тяжелый металлический крест отбрасывал тень, похожую на виселицу. На кресте громоздился пышный венок с черными лентами и бантами. Клавдия расправила широкую шелковую ленту, прочла: «За спасение тюремной администрации».

«Ах, да это могила уголовного Мухина...» Большой осиновый кол был вбит рядом с крестом. Сверху на зачищенной коре жирно чернело: «Иуда!»

Тюрьма гудела, как шмелиный рой, когда Трофимова с товарищами, оглушенными и избитыми, уносили в тюремную больницу. Спас их от смерти дядька Буркин, которому удалось привести в «башню» тюремного врача. Молодой врач схватил за руку Гумберта и потребовал прекратить избиение. Лицо его покрылось красными пятнами, голос звенел от возмущения. И Гумберт сдался. Врач вызвал санитаров и не разрешил надзирателям нести носилки, опасаясь, что они добьют заключенных... Скорбным было это шествие. Слабо стонал Трофимов. С помертвевшим лицом лежал Меньшиков, что-то сясь произнести обезображенным ртом. Кричал Глухих с куском шапки в бритой голове.

И все же Трофимов нашел силы утром переслать политическим записку на вощеном пакетице от порошка. Принесли ее в корпус санитары. «Нас предал Мухин. Мы избиты до полусмерти. Прощайте, товарищи».

Дрожали от ударов двери, звенели стекла, с треском падали койки... Политические начали обструкцию.

Записку Трофимова переслали уголовным. Уголовные вынесли Мухину смертный приговор. Перепуганный, он решил отсидеться в канцелярии. Только и там разыскал его повар — арестант Березин. Тяжелой походкой подошел он к Мухину. В руках огромный кухонный нож. Презрительно бросил: «Сдохни, сволочь!»

Начальство устроило уголовному Мухину пышные похороны. На панихиду в тюремную церковь арестантов сгоняли силой. Вели себя арестанты непочтительно: смеялись, переговаривались. Никто не жалел предателя-иуду...

Клавдия шла и думала: две жизни, две смерти.

На фамильном склепе Грибушиных возвышался мраморный ангел с крестом. Маленький невзрачный человек с глазами-буравчиками притаился у холодного камня. Пристально взглянул человек на Клавдию, но она не обратила на него внимания. Прошла, низко опустив голову.

На узенькой тропке Клавдия вновь столкнулась с неприметным человеком в длинном пальто с каракулевым воротником. Улыбнувшись и обнажив желтые гнилые зубы, незнакомец скрылся за склепом.

И Клавдия прибавила шаг.

## Д е м о н

Клавдия подходила к желтому двухэтажному дому на Оханской улице. Здесь снимал квартиру купеческий сын Вениамин Кутузов.

Тяжелым оказался март 1907 года для Клавдии. Неудачный побег, друзья — одни в тюрьме, других и вовсе нет в живых. Пермь на «чрезвычайном» положении, боевиков судят военным судом. Новое горе легло на плечи: убили Ваню Питерского, а вскоре ранили Демона. Рана начала гноиться. Клавдия боялась гангрены. Правда, удалось привезти к Демону городского врача, но положение оставалось очень тяжелым. Перевязки делала она. Приходила вечером с желтым своим кожаным саквояжем.

Имя Демона никто не знал. Известна лишь партийная кличка. Он приехал в Пермь в 1906 году вместе с Ваней Питерским. Вместе работали в патронной мастерской социал-демократов на Охте. Чудом удалось Демону избежать ареста.

Полиция гонялась за ним. Приехал в Пермь с нелегальным паспортом. Сражался вместе с «лесными братьями».

Из Петербурга жандармское управление прислало агента Калашникова с особыми полномочиями... Прислало, чтобы уничтожить боевиков. Демон опознал Калашникова на улице. Посоветовался с товарищем. Вместе начали охотиться за агентом. Калашникова окружала целая свора филеров как питерских, так и местных. И все же его подкараулил Сибиряк. Подкараулил и убил. Демон в тот день был счастлив: пускай со своими «особыми полномочиями» катится на тот свет!

Теперь, раненный, Демон приютился на квартире купеческого сына Кутузова. Обросший, худой, он лежал на широкой кровати, морщился и тихо постанывал, когда Клавдия осторожно снимала окровавленные присохшие бинты. Бережно она обрабатывала рану, накладывала свежую повязку. А выхаживала раненого Евдокия Чечулина, тихая, добрая и отважная женщина.

— Плохо он ест, Клавдичка,— жаловалась Евдокия.— Кормлю с ложечки, как ребенка. Хорошо, хоть спать стал... Аж вечер испугалась — спит и спит. Потом думаю: а ведь сонто — лучшее лекарство.

Демон улыбнулся в усы:

— Она мне спать не дает. Ешь да ешь... Одним держу — сбегу в лес к Лбову... Пусть за меня отвечает...

Все трое рассмеялись.

И вдруг кто-то дернул ручной звонок. Клавдия, подхватив раненого, вопросительно посмотрела на Евдокию. Та растерянно развела руками: в этот час никого не ждали. Демон выхватил из-под подушки револьвер, попытался сесть, но не смог и упал на руки Клавдии.

В дверь барабанили. Клавдия, опустив раненого на подушку, скользнула к окну. Напротив дома стояли тот самый невзрачный тип в длинном пальто, околоточный, дворник и еще какой-то субъект. Звонок захлебнулся и смолк.

Послышался окрик:

— Отворяй! Полиция!

Евдокия тоскливо взглянула на Клавдию. Та выпрямилась, скрестила на груди руки:

— Пусть ломают. А ты, Евдокия, не трудись... Нам полиция ни к чему... Это они без нас обойтись не могут.— И Клавдия ободряюще подмигнула Чечулиной.— Мы чисты, как голубки...— Она вдруг прикусила губу, спросила Демона:— А вы тут никакой нелегалщины не развели?

— Как не быть? — вздохнул Демон.

Евдокия схватила тонкие листы прокламаций, поднесла спичку, бумага как бы нехотя загорелась. В дверь бешено бабанили.

— Давай револьвер, товарищ, — твердо сказала Клавдия. — Весь дом обложили. Стрелять бесполезно.

Демон, поколебавшись, отдал револьвер, Клавдия швырнула его в помойное ведро.

— Клавдичка, запомни, — проговорил Демон, — звали меня Илларионом Парашенковым... Из крестьян Вятской губернии. Может, когда...

Дверь затрещала и грохнулась. С минуту было тихо. Но вот что-то зашуршало, заскреблось об пол, и в комнату медленно вполз щит из толстых досок.

— Бросай оружие! — грозно прокричал хриплый голос.

Клавдия не могла удержаться от смеха. Вот так штука, черт побери! Такой арест в Перми был новшеством.

— Бросай щит! — насмешливо прокричала Клавдия. — Какое у нас оружие? Отродясь в глаза не видели!

Щит отодвинулся, показалась сконфуженная физиономия жандарма. Комната наполнилась полицейскими. Ротмистр Самойленко был явно обескуражен при виде столь мирной группы. Играя пенсне, строго объявил:

— Все вы арестованы. Да-с, — пробормотал он. — Кирсанова... Чечулина...

Громыхая сапогами, полицейские кинулись к Демону, оттолкнули женщину, сдернули ватное одеяло. Клавдия вспыхнула:

— Перед вами тяжелораненый. И я, как фельдшер, протестую...

— Полноте, госпожа Кирсанова, — пренебрежительно бросил ротмистр, — боюсь, фельдшером вам не суждено быть.

Самойленко доставал с этажерки книги, перелистывал их, швырял в сторону. Одна из книг в синем переплете его заинтересовала. Острым ножом ротмистр надрезал корешок, извлек записку. Надел пенсне, прочитал: «Горжусь мужеством героев, которые отдают жизнь за народ. Счастлива, что иду одной дорогой с героями. Безумству храбрых поем мы песню...»

Клавдия, покосившись на Самойленко, узнала свою записку к Демону. Но теперь было не до улик. Она оттолкнула полицейского, помогла раненому одеться.

— Евдокия, — командовала Клавдия, — запоминай номера. Запоминай: этот второй, а этот пятый...

Полицейские испуганно стянули шапки с номерами, пихнули за пазуху.

— Вот так-то лучше,— насмешничала Клавдия.— Революция научит вас вежливости.

Ротмистр побелел:

— Вы за это ответите, госпожа Кирсанова.

— И вы ответите,— отпарировала Клавдия.

Самойленко, кисло улыбнувшись, приказал:

— Увести!

Улицу запрудила толпа.







## ВЕРСТЫ... ПОЛУСТАНКИ...

### Сибиряк

**П**оезд набирал скорость. Иркутск остался позади. Клавдия облегченно вздохнула. В купе тепло, тихо. «Как хорошо — одна! Отосплюсь... Спасибо товарищам — устроили по-царски».

Она не сразу узнала себя в зеркале: бледная, синие круги под глазами, складки у рта.

Наше поколение юности не знает,  
Юность стала сказкой миновавших лет;  
Рано в наши годы дума отравляет  
Первых сил размах и первых чувств расцвет... —

грустно проговорила Клавдия, поставила саквояж на плюшевый диванчик, неторопливо сняла синий жакет с бархатным воротничком. Отколола атласную шляпку-пирожок. Провела рукой по каштановым волосам и поправила тяжелый узел.

Она села ближе к окну, откинулась на спинку диванчика. Проносились телеграфные столбы, красноватые будки стрелочников, заводские остроконечные корпуса. Синело небо над могучими кедрами.

В купе было уютно, и Клавдия отдалась ощущению покоя, подчинилась размеренному перестуку колес и плавному покачиванию вагона. Взгляд ее стал задумчив, печален. И воспоминания нахлынули на нее...

...В ссылке, куда она попала после крепости, пришлось нелегко. Народ оказался неприветливый. Вокруг непроходимая тайга, никто тебя не стережет, рождается иллюзия свободы, а живого дела нет! Воля эта хуже неволи! Выдержала лишь месяц такой жизни! Не было сил сидеть в глуши и ждать.

Ну вот... вот она и сбежала из этой проклятой ссылки. Сколько она там торчала, в этом Балаганском уезде? Нынче октябрь, октябрь девятьсот восьмого, а приговор вынесли весной прошлого года. До Иркутска добиралась на крестьянских лошаденках. Тайга уж пылала осенними красками. А беглянка думала, где найдет она приют, товарищей встретит ли, где достать деньги и хоть какую-то одежонку поприличнее. Ну, добралась до Иркутска. После долгих мытарств разыскала явку. Хозяйка, молоденькая курсисточка, обещала связать ее с организацией ссыльных. Пришлось несколько дней сиднем сидеть в крошечной горенке. Выпал снег, все кругом переменялось. Стояли в иные березы. Клавдия почти не отходила от окна. Все смотрела, смотрела... Изредка заглядывала к ней опрятная старушка, вдова бедного чиновника, и уводила на свою половину. Старушка чем-то напоминала Клавдии маму.

Красный угол в горенке занимал большой киот с витыми венчальными свечами. Свечи старушка берегла на счастье. Только счастье обходило стороной этот маленький дом...

Старушка не досаждала расспросами и сама рассказывала, как мужа схоронила, как сын погиб. А как-то под вечер, когда снег на дворе лежал багровый, привела свою племянницу, невысокую, ладную девушку, и та, застенчиво улыбаясь, предложила Клавдии паспорт. Клавдия задохнулась от счастья. Настоящий паспорт, «железка», как говорили в подполье. Да с таким-то паспортом сам Столыпин не страшен!

А курсистка лишь посмеивалась: мол, не первую отправляем... Потом обрядили Клавдию в синий жакет, дали ей шляпу, ботинки... А потом и плетеную корзину. Клавдия сложила в нее старенькую шубейку, и сразу появился багаж. Теперь можно думать о России...

Поезд стучал, уносил ее все дальше и дальше от Иркутска. Придется остановиться в Екатеринбурге, чтобы замести следы. А там — в Москву, к друзьям...

За окном кружился мертвый лист. Бродили осенние тени.

Могучие кедры, как родные братья, один к одному. Клавдия прикрыла глаза...

Судили ее по процессу «Двадцати двух», судили вместе с питерскими боевиками. Тогда по этому процессу из питерцев проходили боевики — «Сибиряк», «Учитель», «Ястреб», «Гром»...

Военный суд судил их за «принадлежность к преступному сообществу, составившемуся для насильственного ниспровержения установленного основными законами образа правления»... Здание окружного суда оцепили солдаты. Как-то среди них Клавдия разглядела Яна Суханека. Она готова была поклясться, что заметила в глазах его слезы.

Сибиряка приводили закованного, под усиленным конвоем. Боялись этого богатыря! Твердо шагал он, окруженный солдатами. Бряцали ружья, поблескивали штыки. А Сибиряк лишь пренебрежительно оглядывался по сторонам. На процессе Клавдия узнала его фамилию: Савельев. Дмитрий Петрович Савельев. В Пермь прибыл из Петербурга. Держали его в «полуротках» — страшной военной тюрьме за Сибирским трактом. Около «полуроток» чернело крестами старое солдатское кладбище. В «полуротки» помещали «смертников». Там же и вешали их.

Под тяжелыми каменными сводами прокурор читал обвинительное заключение. Был он, прокурор этот, невысок, сутуловат. Читал монотонно. Когда дошел до хранения в доме Чечулиных «бомб, начиненных гремучим студнем», голос его осекся. Клавдия видела, как Сибиряк с видимым удовольствием слушал перечисление своих «преступлений», шурился, улыбался, поддакивал. Знал, что его ждет смертная казнь, но и к комедии суда относился с хладнокровием.

Клавдию привозили на суд из губернской тюрьмы. Она сидела в «башне», в той самой «башне», из которой пыталась организовать побег Трофимова. Был апрель, бездонное голубое небо. Природа готовилась к цветению, а здесь, в здании суда, готовилось убийство...

И однажды солдат, подталкивая Сибиряка штыком, прокричал: «Иди-иди, висельник проклятый... Вот уж о ком веревка-то плачет!» Сибиряк резко повернулся, уперся широкой грудью в острие штыка. Солдат опешил, не выдержал его яростного взгляда и попятился. Сибиряк покачал головой, презрительно сплюнул и, громяхая кандалами, неторопливо прошел к скамье подсудимых. В тот день он попросил: «Клавдичка, вся надежда на тебя... Ведь повесят, сволочи... Я боевик и уме-

реть должен достойно.— Помолчал и добавил: — Понимаешь, с оружием в руках. Оружия бы... Любое... Догадываешься? Даже вот эти кандалы. Поспрашивай у себя на башне, может, что придумать можно».

И в первый раз в его глазах Клавдия прочла отчаяние. Не смерть страшила, а унижение...

Почти всю ночь перестукивались в «башне». Надзиратель Буркин грозил карцером, но сделать ничего не мог. То на одном конце, то на другом раздавался стук. Стучали на первом этаже, стучали на втором. Стучали в стены, стучали в пол. Надзиратель даже решил при проверке доложить по начальству, но утром внимательно посмотрел на Кирсанову и досадливо махнул рукой.

Сибиряк ждал Клавдию. По ее глазам сразу понял — дело сделано. Читали обвинительное заключение. Прокурор, потрясая запиской, взятой при аресте Кирсановой, желчно подчеркнул: «Безумству храбрых поем мы песню!» Клавдия задохнулась от негодования. Да, она писала эту записку... Да, она всегда восторгалась и будет восторгаться мужеством героев, павших в борьбе... Этого чувства господину прокурору не понять: «Рожденный ползать — летать не может!»

Прокурор побагровел, он потребовал призвать Кирсанову к порядку. Подсудимые смеялись. Конвоиры таращили глаза. Отчаянно дребезжал колокольчик в руках председателя...

Прокурор вытер лоб и продолжал, поглядывая на Сибиряка:

— Если бы встали тени убиенных чинов полиции... Если бы они ожили и смогли заговорить, то преступник, именующий себя Сибиряком, содрогнулся бы от ужаса... Покрылся бы холодным потом от раскаяния и стыда...

И тут голос прокурора заглушил бас Сибиряка:

— Если встанут тени убитых и замученных за народное дело царскими опричниками, то прокурору придется оледенеть... Здесь холодным потом не обойтись... Глыбой льда, безобразной и бесформенной, стал бы господин прокурор. Нас мало, но придет время, когда народ сделает то, что мы не сумели сделать!

Обвиняемые придвинулись к Сибиряку, придвинулись и застыли. Клавдия тоже встала рядом с ним. Наступила тишина. Зал притаился. Прокурор не мог вымолвить ни слова. Председатель прервал заседание...

Вечером огласили приговор военного суда. Черные тени падали от решетчатых окон... Сибиряка и его товарищей при-

говорили к смертной казни через повешение... Клавдию ждала крепость и ссылка на вечное поселение в Сибирь...

Осужденные начали прощаться. Железные руки Сибиряка обхватили Клавдию. Они поцеловались в последний раз. Клавдия выполнила просьбу товарища...

Смертников уводили. Побрякивали прикладами конвоиры. Клавдия с трудом сдерживала слезы. Сибиряк прокричал:

— Боритесь, товарищи! Мы еще постоим за себя!

В камере Клавдия долго плакала... И теперь, в вагоне курьерского, вспомнив все это, она опять залилась слезами...

С приведением приговора в исполнение торопились. Сибиряк это знал. Ночью он развернул план, переданный Клавдией. Склонились над ним и его товарищи. На скользкой бумажке был нарисован нижний угол двери в камере номер пять, там стоял жирный крест. Между дверным косяком и шершавой стеной узники нашли узкую, едва приметную щель. Когда-то в этой камере сидел рабочий-боевик с Мотовилихи, ему-то и принадлежал этот тайничок: если в щель осторожно опустить тонкую иглу, то можно зацепить конец суровой нитки, а потянув за нее, достать стальную пилку.

В гулкой ночной тишине раздались приглушенные шаги тюремной стражи. На кованые сапоги надели они войлочные туфли. Шли воровато, крадучись. И все же Сибиряк услышал их. Услышал и встретил, как боец. Он дал знак товарищам, и они, загасив свет, притаились у стен. Первым вошел грузный Высоцкий, начальник «полуроток». Его ненавидели за жестокость. И сразу же Сибиряк обрушил на его голову кандалы, завернутые в полотенце. Высоцкий ахнул и мешком повалился на пол. Смертники набросились на стражников, смертники крушили тюремщиков кандалами...

По тревоге в «полуротку» ворвались солдаты, открыли стрельбу, коридор заволокло дымом. До самого утра продолжался яростный бой в камере номер пять. Сибиряк и его друзья погибли. Их расстреляли в камере. Мутноватый рассвет робко пробивался через решетчатое окно. Всклипывал дождь.

За окном была тайга. Паровоз тоскливо гудел.

## Какая у человека совесть?

Поздней ночью уходил курьерский со станции Тайга. Клавдия лежала на пружинном диванчике и не решалась выглянуть в окно. Если в Иркутске узнали о ее бегстве, то наверняка



дали телеграмму. Тогда нужно ожидать проверки в поезде. На окно набегали косые тени: провозили багаж, спешили артельщики, слышался громкий мужской разговор.

Но вот раздался свисток, лязгнули буферные тарелки, вагон вздрогнул и, чуть подпрыгивая на стыках, медленно покатился. В купе было темно, огня Клавдия не зажигала.

Прогрохотал встречный, яркий свет на мгновение выхватил из темноты пристанционные дома, деревья, сараи. Клавдия слабо улыбнулась: так же возникает в памяти минувшее... Как много пришлось повидать за последние годы, пережить, передумать... В революцию она пришла гимназисткой. Помог этому Алексей, ее двоюродный брат. Они жили тогда в Кунгуре, тихом городке близ Перми. Семья разрослась, а тут еще Алексея выслали под надзор полиции, как социал-демократа. Иван Васильевич племянника приютил, словом не попрекнул... А племянник времени зря не терял: сразу же начал создавать кружок среди рабочих. Клавдия, босоногой девчонкой, приносила им чай да стояла около дома, охраняя от непрошенных гостей.

Как-то прибежала к Алексею счастливой, тряхнув тугими косичками, похвасталась: «Меня министр погладил по голове!» — и запрыгала на одной ножке. «А конфетки-то он тебе не дал?» — спросил Алексей. Клавдия обиделась: «Конфетку-у-у...» И торопясь рассказала, как на завод пожаловал министр Сипягин, толстый такой, в котелке и с большим золотым перстнем. Выстроили их, девочек с белыми бантиками, у ворот, дали в руки цветы. Впереди поставили поповских дочек. А министр на поповских дочек не взглянул, а вот ее, Клавдию, поблагодарил за цветы и по головке погладил! То-то вытянулась физиономия у попадьи...

Алексей пристально поглядел на Клавдию черными насмешливыми глазами и сел на табурет. Налил себе кипятку, ломоть хлеба макнул в постное масло и сахаром посыпал. Опять на Клавдию поглядел и сказал: «А живет в народе такая побасенка... Как-то дошла до царя молва: криком кричит народ от воровства министров. Растащили казну, обобрали рабочих... Царь испугался — так, пожалуй, министры-воры и до его, царских, доходов доберутся. Надел он платице парчовое, сапожки сафьяновые, нацепил на белы руки перстни бесценные. Позвал министров. Те вошли, низко ему поклонились. «Жалуетесь на вас народ, господа,— загнусавил царь, проводя надушенным платочком по рыжим усам.— Воруете, деньги от казны утаиваете». — «Врут все, ваше царское величество. На-

род — он кто? Воры да разбойники», — заговорили министры хором, а сами пальцы-то, униженные перстнями, прячут от царского глаза. Взял тогда царь чудотворную икону Казанской божьей матери и так сказал: «Не хочу обижать вас, господа министры, а только должны вы дать клятву святую, что от казны ничего не утаите и воровать никогда не будете».

А министры-то молчат и вроде как и не слышат ничего: обмерли, пялят очи свои на икону, а там, на окладе, камни драгоценные, один ярче другого, так и сверкают, так и сверкают. Жемчуг матовый, рубины красные, бриллианты, как звезды в небе. Царь икону-то подносит, а она так и горит переливами. Особливо один бриллиант то красным лучиком сверкнет, то голубым, то оранжевым... У министров аж руки затряслись, а поделаться с собой ничего не могут. «Ну, поклянись, что воровать не будешь», — говорит царь, поднося икону одному министру, который, значит, стоял поближе. Министр осенил лоб крестным знаменiem, поклонился до земли и приложился к иконе. Поцеловал икону, да бриллиант-то и выкусил, заложил за щеку, а сам смотрит на царя и крестится, крестится. Царь заметил — нет камушка, понял, что натуру министрову не переиначишь. Покачал головой и спрятал икону, а то, мол, все камни разворуют... Подумал-подумал и говорит: «Ступайте, господа, с богом да смотрите, чтоб народ про этот позор не узнал». Только правда-то дошла до народа, и с тех пор больше уж народ не жалуется царю на министров. Да и зачем? Народ должен решать, как быть да как жить...»

Долго еще по ночам снилось Клавдии, как толстый министр Сипягин выкусывает бриллиант из иконы и как бриллиант этот, точно грецкий орех, за бритой щекой у министра катается...

Шло время. Клавдия по совету Алексея вступила в нелегальный кружок самообразования. Читала запрещенные книжки, листовки. А потом арестовали руководителя кружка и к Клавдии пришли с обыском. Было ей тогда пятнадцать лет. Вот тогда-то и обнаружили на книжной полке вместе с учебниками нелегальную брошюру «На задворках фабрики». Шум поднялся в гимназии невозможный. Классная дама ходила с распухшими от слез красными глазами и кричала, что Кирсанова ее опозорила, что Кирсанова кончит жизнь на каторге. Потом ее вызвали к начальнице гимназии. В тяжелом шелковом платье начальница сидела за столом, поджав губы. Около нее в кресле развалился толстенный купчина, попечитель. Ос-



мотрел Клавдию с ног до головы и, постучав волосатым кулачищем, пробасил:

«Дурь, девка, брось, а то впрямь из гимназии исключим. В тюрьму захотела?! Хватит со всякими сволочами социалистами водиться. Семья хорошая, кончишь гимназию, замуж за человека выйдешь. Ну, прощай... Буду за тобой теперь приглядывать...»

А через несколько дней ее принимали в партию. Было это в 1904 году. Собрались у сапожника. Комнатка небольшая, а народу много. Клавдия волновалась. Щеки ее, и без того розовые, полыхали. Рекомендовал ее Алексей. Клавдия даже не очень хорошо слышала, что он говорил. Собрание вел старик кожевник. Сухонький, глаза строгие, колючие... «Подумай хорошенько, Кирсанова... Жизнь у нас тяжелая. Жандармы, шпики, как за зверем, охотятся. Революции нужно отдавать себя целиком. Работы много, а риску и смертельной опасности еще больше.— Помолчал и добавил.— Девушка ты боевая, исполнительная. Мы тебя на разных заданиях проверили. Только подумай... Не у каждого такая совесть, чтобы прожить не мог без революции!»

Неожиданно для себя Клавдия громко сказала: «А у меня именно такая! Я без революции прожить не смогу... Хочу вступить в партию, потому что она за рабочих.. А еще потому, что в партии лучший человек, которого я знаю,— Алексей!»

Все засмеялись, и Клавдию приняли. С тех пор нередко она вспоминала слова старика кожевника: «Не у каждого такая совесть, чтобы прожить не мог без революции!» Видела и трусов, и предателей, и маловеров. Но больше встречала настоящих, прекрасных людей.

А из гимназии ее все-таки исключили. Вскоре все семейство Кирсановых перебралось из Кунгура в Пермь. Там как раз в это время создавался при боевой дружине санитарный отряд. Возглавить его поручили Клавдии, посоветовали поучиться медицине. И объяснили: баррикадные бои потребуют своих медиков.

Клавдия нарядилась в лучшее синее платье и направилась в хирургическую амбулаторию Попова. Реакционером он слыл отчаянным, но хирургом был отменным. Клавдия пришла скромная, притихшая. Пришла с готовой фразой: «Разрешите мне проходить у вас практику. Я слушательница Высших медицинских курсов. Мечтаю работать с таким прославленным хирургом, пока господа-товарищи в политику играют». Доктор Попов вскинул густые седые брови: «Гм... Действительно,

господа-товарищи... Сестра, дайте барышне халат»... Вот так и начались ее занятия в амбулатории. Попов даже полюбил Клавдию за сметливость и аккуратность, за ее ловкие, чуткие руки и не раз предлагал ассистировать на операциях. После дежурств Клавдия спешила в Заречную сторону за Егошиху, где дружинники изучали военное дело, учились строю и стрельбе в цель.

А Клавдия усадит кого-нибудь из них на пень и давай накручивать бинты, шины. От ее санитарок дружинники бегом бегали. Все одно — пиши пропало: поймают и начнут пеленать своими бинтами. Володе Урасову доставалось больше всех...

В дни баррикад Клавдия не расставалась со своим кожаным саквояжем, где были бинты, вата, йодоформ.

В Пермском комитете начались провалы. Орудовал провокатор. Теперь-то она догадывалась: Фома Лебедев. Провалилась подпольная типография, взяли несколько пудов шрифта. Аресты шли повальные. И тогда в 1906 году в Перми появился Свердлов. В лесу за Камой Михалыч сделал доклад, громовым голосом подтвердил: «Бредни меньшевистские, что революция идет на убыль. Мы стоим перед новыми боями революционных масс с царским правительством. Революционная энергия не иссякла, и еще более грандиозной будет та борьба, которая не за горами»...

Клавдия презрительно посмотрела на меньшевиков. Она воспрянула духом. С собрания пошла налево, в Мотовилиху, куда направлялся Михалыч. За Михалычем, за рабочими — в революцию!..

Так Клавдия начала в семнадцать лет работать с Михалычем. На нее легла забота о технической подготовке восстания.

Свердлов послал ее к солдатам Пермского гарнизона. Нужны были связи. Чаще всего эти связи помогала устанавливать тюрьма. У караульной будки стоял на посту солдат. Придет, бывало, Клавдия на свидание в тюрьму и начнет постового прощупывать. То платком махнет — камеры женского корпуса выходили на Анастасьевский садик... Махнет-то с толком, по тюремной азбуке. Вот тут-то и смотрит, как себя солдат поведет. Если грозит начальство вызвать, то и сил на него не тратит. Если солдат делает вид, что не замечает, то такого запомнит... А уж потом и повстречает ненароком где-нибудь на Разгуляе около Красных казарм. Так познакомилась она с Янеком Суханеком.

Клавдия посмотрела в окно вагона и улыбнулась. У нее явка была в Москву, к подруге по работе в военной организации...

Конечно, и без курьезов не обходилось. Как-то ее арестовали. Она подошла к нижним чинам конвойной команды, заговорила: «Братья, зачем вы идете на нас со штыками... Ведь мы ваши сестры. Мы вас любим!»

Солдаты молчали.

Жандармский подполковник, который знакомился с ее бумагами, поднял голову. Застегнул стоячий воротник мундира, повертел аксельбант. Посмотрела Клавдия на его холеное лицо и закончила: «Зачем вы слушаете этого подлеца? Сколько крови народной на нем! Он слуга царю — вору и грабителю. Вы же дети рабочих и крестьян... Мы боремся за вас...»

И столько задора было в ее девичьих глазах, что офицер не сразу нашелся. Побагровев, приказал замолчать. Подскочил к ней. А она рассмеялась: жандарм напоминал медведя. Неуклюжий, кряжистый. Подполковник овладел собой, круто повернулся на каблуках и начал составлять протокол... Ее судили в июле 1907 года за «противоправительственную речь», произнесенную в коридоре Пермской губернской тюрьмы...

Прокурор, играя черным шнурком пенсне, удивленно разглядывал жандармского подполковника. Его вызвали как свидетеля. Понуро стоял он рядом с Клавдией. Прокурор перевел взгляд на девушку. Пухлые щеки, длинные косы, ямочка на подбородке, старенькое гимназическое платьице... М-да... Только в глазах этот упрямый блеск. Прокурор, смирив подполковника критическим взглядом, не удержался от вопроса:

— Как же вы смогли разрешить такое в помещении Пермской губернской тюрьмы?.. — Он сделал особое ударение на последних словах.

Подполковник покраснел... А она получила год крепости...

**Нет, Мария! Нет!**

Клавдия, положив локти на жесткую подушку, подняла голову и смотрела в окно вагона. Проносилась тайга, опаленная розовым светом.

Клавдия вскочила, отдернула занавеску, прижалась к стеклу лицом. Свет разгорался все ярче. Она вынула из кармана серой юбки часы. Ночь. Три часа. «Пожар!» — обожгла мысль. — Лесной пожар!» Поезд рванулся вперед, словно же-

лая подальше уйти от опасного места. Вагон трясло. Стакан, забытый с вечера, позванивал чайной ложечкой. Запахло дымом. В купе стало светло как днем. В коридоре раздавались тревожные голоса...

Поезд проходил через полосу дыма, густого, как туман. Клавдию тряхнуло, и поезд остановился.

Клавдия вновь под села к окну. Косматое пламя пожирало деревья. Огонь ломил стеной. На опушке стоял кедр-великан. Огоньки, беловатые и едва приметные, жадно лизали розовую траву, наползая на кедр. Клавдии казалось невероятным, чтобы эти остренькие язычки могли свалить великана. И действительно, огоньки отступили, лишь кора дерева пожухла. Но ненадолго. Вновь они накинулись на кедр. Почернела кора, и кедр вспыхнул снизу до самой вершины. Заискрились сучья, обгоревшая хвоя падала темно-серым пеплом. Огненный столб затанцевал, огненные косяки заходили с боку на бок. Кедр закачался, словно пытался вырваться из смертоносных объятий, и вспыхнул гигантским факелом. Поезд рванулся и помчался среди светящихся искр и серого пепла. Вперед... Вперед...

Кругом все еще дрожал розовато-серый дым, когда в купе заглянули предрассветные сумерки. Окно осветилось первыми солнечными лучами. Наступал новый день.

Клавдия легла, спрятала лицо в ладонях. Таежный пожар напомнил ей ужасный случай, которому она не находила оправдания...

Она сидела в камере Пермской тюрьмы. Окна светлые, большие, решетки на них не так заметны. Когда-то там была больничная палата. В камере находилось тринадцать женщин, все политические. Клавдия любила сидеть на подоконнике, смотреть на тюремный садик, вспоминать дом, маму и тихонько декламировать:

Если, товарищ, на волю ты выйдешь,  
Всех, кого любишь, увидишь, обнимешь.  
То не забудь мою мать...

И мама, маленькая, старенькая, частенько стояла под окнами в Анастасьевском садике. А потом вместе с ней появилась прямая сухошавая женщина в строгом черном платке. То была мать Колеватовой...

Почти год просидела в тюрьме ее дочь в «башне», в одиночке, и Клавдия встречала ее на прогулках. Худенькая, такая хрупкая, болезненная. А глаза огромные, мечтательные. Девушку взяли на какой-то студенческой сходке, веского полити-

ческого обвинения ей предъявить не могли. Время шло. И вдруг стало известно, что Колеватова объявила голодовку. Голодала день, другой, третий. Голодала неделю, полторы недели. Наступил десятый день. И все эти дни ее мать стояла под окнами тюрьмы. Девушка лежала бледная, ослабевшая. По коридору проходил надзиратель, проносил молоко. Озабоченно прибегал в камеру доктор. Колеватова отказалась принимать пищу. Она даже не поворачивала головы. Поверх грубого одеяла вытянулись бело-синие руки. Длинные пальцы казались безжизненными. Кости, обтянутые кожей. А прокурор все не появлялся в тюрьме. Клавдию это возмущало. А теперь к ее возмущению прибавилась тревога за жизнь девушки... Вся тюрьма в волнении следила за единоборством... Наконец политические решительно потребовали освобождения Колеватовой. Последовал отказ. Заключенные восстали. Невероятный грохот разнесся по глухим тюремным коридорам. Клавдия табушетом колотила в железную дверь. Кто-то бил стекла. Опрокидывали койки. Стучали вниз, вверх — всюду. Но страшнее всего был вой: «У-у...» К обструкции присоединились уголовные. Грохот перекатывался, как лавина. У тюрьмы сгрудилась толпа, и впереди всех — прямая сухоощавая женщина в черном платке: мать Колеватовой.

Клавдия, прилепившись к окну, видела, как на людей наскочили драгуны, как студенты окружили мать Колеватовой, как они стащили какого-то драгуна с коня... Но тут в камеру ворвались надзиратели. Старший надзиратель ринулся на Клавдию, схватил ее, пытаясь оторвать от решетки. Но Клавдия успела высадить стекло и крикнула что было силы:

— Нас избива-а-а-ют!

— В карцер! Немедленно! — хрипел старший надзиратель, стараясь увернуться от вцепившихся в него арестанток.

Скандал в городе и обструкция в тюрьме сделали свое дело. Сам господин прокурор ходил из камеры в камеру, объявляя «об освобождении из-под стражи девицы Колеватовой».

Клавдия сидела в темном промозглом карцере и слышала, как ликует вся тюрьма.

Пришли тяжелые дни: умирал отец. Клавдия узнала об этом из письма матери. Отца она любила. Иван Васильевич никогда не упрекнул ее за то горе и страдание, которое она ему доставила судами да арестами... А эти выходы из тюрьмы на поруки, под денежный залог?! Сколько приходилось ему бегать по жандармским канцеляриям... Встретит ее, бывало, прижмет к груди и молча гладит по волосам. А у самого на

глазах слезы. Руки шершавые, мозолистые. Отец умирал... И она подала прошение, чтобы ее отпустили проститься с ним... Отказали... Клавдия вторично обратилась с просьбой... Прийти к умирающему отцу под конвоем! Но Клавдия была согласна и на это... Начальник тюрьмы жевал ржаной ус. Глаза бесстрастные, водянистые: «Не следовало, Кирсанова, огорчать батюшку. Он и умирает, поди, оттого, что дочь из тюрем не вылезит». Она плохо помнила, как дошла до камеры. Слепыми глазами посмотрела на товарищей, рухнула на койку. Мысль работала лихорадочно. Голодовка?.. Обструкция?.. Вот Мария Ветрова сожгла себя в Трубецком бастионе, в Петропавловке.

После ужина Пермская тюрьма затихла. Все молчали. Клавдия видела, как надзиратель снял стекло, зажег керосиновую лампу. Желтовато-мутный свет пополз по углам камеры. Клавдии стало невыносимо тоскливо. Отец умирает, зовет ее... А она здесь, за железной решеткой! Клавдия, накрыв голову суконным одеялом, зарыдала. Ничего изменить нельзя. Тюрьма, глухая, немая тюрьма. И когда пришла ночь, мстительно-злое чувство охватило ее. Она подбежала к лампе, вынула горящий фитиль, облила керосином платье. Сердце отчаянно трепетало, губы упрямо шептали: «Пусть! Пусть! Пусть!» И она поднесла огонь к своему платью. Огонь поднялся неровно. Быстро схватывал полосы, залитые керосином. Долго тлел, словно раздумывал, у ботинок. Запахло гарью, от дыма слезились глаза. Огонь покусывал длинные тугие косы. Огонь ширился, накидываясь на нее. Еще мгновение, и огненный столб охватил бы ее.

— Что я делаю? Что я делаю? — шептала Клавдия.

Первой подбежала к Клавдии курсистка, койка которой была тут же в углу. В ее глазах Клавдия увидела ужас, отсвет пламени прыгал в темных расширенных зрачках. Она опрокинула Клавдию на пол, набросила на нее старенькое одеяло. Клавдия устало сказала:

— Пусти, я хочу умереть...

Когда она очнулась, над ней склонились перепуганный надзиратель и фельдшер.

— Потерпи, Кирсанова... Потерпи... — сказал он сокрушенно. — Хорошо, хоть быстро спохватились... Эх, молодость, молодость... — Фельдшер осторожно смазывал ее обожженное тело какой-то пахучей жидкостью.

О случившемся не говорили. А Клавдия ночи напролет не спала. Было мучительно стыдно: какой нелепой смертью могла она умереть! Что изменила бы ее смерть? К смерти она готова. Но к какой? К смерти борца! Нет, Мария! Нет!

Переждав несколько дней в Екатеринбурге, Клавдия вновь села в поезд Иркутск — Москва. В купе оказалась семья чиновника, скучная и чопорная. Разговаривать было не о чем. Клавдия лежала на верхней полке и рассматривала знакомые места. Каждая верста, которую с такой обидной быстротой пробегал поезд, дорога и близка до мелочей. Тихо постукивали колеса, бранились соседи.

Поезд замедлил ход: Кунгур. Клавдия встрепелась. Здесь прошли ее девичьи годы... Бегала с листовками... Слушала сказку Алексея о ворах-министрах. В этом городе вступила в партию... Хорошо про совесть сказал тогда старик кожевник.

Она даже матери не сообщила, что будет в Перми проездом. И когда поезд пришел в Пермь и она увидела знакомый вокзал, ей сделалось так тяжело, грустно и одиноко, что она в сердцах упрекнула себя за излишнюю осторожность. Товарищи могли бы предупредить маму. Хоть бы издали на нее посмотреть. Да и сестер она могла бы привести.

Поезд стоял, как показалось Клавдии, долго, очень долго. Неподалеку от вокзала возвышались Красные казармы. Туда она частенько ходила с Володей Урасовым. Припомнились встречи с Яном Суханеком. Неудавшийся побег Трофимова из «башни». Тогда Трофимова и его друзей избили так, что на суде им даже не вынесли смертного приговора. Теперь Трофимов томится в тюрьме. Осужден он надолго. Клавдия знала, что Лбова казнили. Казнили и Сибиряка... Пермская тюрьма, мрачная, жуткая. Каких товарищей поглотила она, свела в могилу... «Невестой» ходила к Михалычу... И сейчас ей слышался его густой бас...

Соседи по купе вышли. Клавдия осталась одна. И вдруг она уловила звон шпор. Ближе... Ближе... Клавдия натянула на голову одеяло и отвернулась к стене. Сердце ее лихорадочно забилося: неужели все кончено?..

Поезд тронулся. Дверь открылась. Клавдия услышала, как новый пассажир положил вещи. Осторожно кашлянул. Постоял. Она почувствовала его взгляд. Заскрипели пружины. И сладковатый табачный дым наполнил купе.

Долго лежала она, притаившись. И неожиданно уснула. Ей снился прокурор. Сибиряк, гремящий кандалами, Лбов, стреляющий в караулку... Тут она вскрикнула и проснулась. Был вечер, и горел свет. В купе сидел жандарм. Клавдия приподнялась на локте, посмотрела на него и зевнула, быстро при-

крыв рот ладошкой. Жандарм, молодой еще мужчина, любезно улыбнулся:

— Уж и Вятку проехали, а вы, барышня, все спите.

— Вятку? — искренне удивилась Клавдия.

— Ну, с Вяткой-то пошутил, но спали долго. Сейчас чай подадут... Не желаете ли?

— Да уж, право, пора. Пройдите, пожалуйста, в коридор. Я оденусь...

Мужчина наклонил голову и вышел, медленно закрыв за собой дверь.

Клавдия тоскливо посмотрела в окно. Поезд мчался. Мелькали верстовые столбы. Нет, выпрыгнуть на ходу — верная смерть! Махнула рукой. Спустилась с полки, причесалась, оправила бархатный бантик на белой кофте, потуже затянула широкий пояс. Вдохнула и открыла дверь.

Жандарм, ладный и щеголеватый, щелкнул каблуками и подсел к девушке. Клавдия внезапно окинула взглядом его багаж. Плохо. Очень плохо... Один портфель. Вряд ли с таким багажом пускаются в путь по личной надобности. Арестует. Наверняка арестует...

Жандарм не отрывал от Клавдии пытливых глаз. Клавдия старалась не замечать его настороженности. Чуть прищурив карие глаза, спросила:

— Так вы в Кунгуре или в Перми сели? Вошли так тихо, что я и не расслышала...

— В Кунгуре, — ответил жандарм и вновь внимательно посмотрел на Кирсанову. И представился: — Петр Петрович Семипалов.

— Очень приятно... Наталья Порфирьевна Фадина. — Она поднялась, взяла с верхней полки шитый бисером ридикюль, улыбнулась беспомощно и добавила: — Все боюсь паспорт потерять. Я ведь в первый раз в такой дальней дороге без ма-тушки. Уж так тревожусь, так тревожусь... Долго ль до беды? И так обрадовалась, когда вас увидела, ну, думаю, слава богу — приличный человек рядом будет. А у меня, знаете ли, — все более оживляясь, продолжала она, — неудача. Да, да... Я вам сейчас расскажу. Я сама родом из Тулы... Может, бывали? Нет? Жаль, очень милый городок. Там у нас на Губернской собственный дом. А семья большая, очень большая. — И Клавдия, улыбаясь, широко развела руками. — Двенадцать детей...

— Двенадцать! — ахнул жандарм. — Ну и ну!

— И все девочки! А я после гимназии решила к сестре, в



Екатеринбург... Она обещала мне место гувернантки в хорошем доме. Матушка поплакала и отпустила меня: ведь к родной сестре... И что же? Представьте мое положение: приезжаю, а сестра и не думает устраивать меня — заставила своих детей нянчить. Пятерых, один другого меньше. Замучили... Стала проситься в гувернантки — зять запротестовал: живи, мол, у нас... Зачем держать в доме чужую прислугу? Ты родня, вот и живи. Думала-думала и решила уехать. Может, в Москве место найду...

Клавдия презрительно оттопырила губы и передернула плечами. Петр Петрович слушал ее внимательно. Барышня нравилась ему.

— Справедливо... Очень справедливо... — согласился жандарм. — Что за жизнь для образованной барышни — за детьми ходить? — И многозначительно прибавил: — Детки не уйдут.

— Хотите домашних пирогов? — встрепенулась Клавдия. — Она сняла с полки саквояж и выложила на узенький стол свежие морковные пироги, крутые яйца, кусок вареного мяса...

Заботливо собрали ее в дорогу товарищи. Каждую мелочь предусмотрели. Глаза ее стали задумчивыми и грустными.

— Сестрицу изволили вспомнить, — заметил жандарм.

— Да. Хорошие люди, близкие...

Петр Петрович вынул из портфеля кусок запеченного окорока. Положил на столик газету:

— Будьте хозяйшкой...

Клавдия скосила глаза на газету. «Пермские ведомости»! Еще совсем свежая.

— Газеткой интересуетесь! У меня есть сегодняшняя...

— Нет, зачем же... Это уж пусть стриженные барышни читают или те, которые в пенсне... — Покраснев, доверительно сообщила: — Я рукодельничать люблю... Работу и в дорогу, взяла...

Клавдия достала из саквояжа черную бархатную подушечку, наполовину расшитую, и сумку с яркими шелками.

— Вы мне что-нибудь расскажите... А я займусь.

Она склонилась над работой. Петр Петрович вздохнул: «Чудо как хороша! Наивна. Непосредственна. Скромна». Клавдия взглянула на него из-под полуопущенных ресниц и сердечно попросила отведать пирогов. Жандарм, собирая губы в улыбку, с чувством поблагодарил:

— Спасибо... Какое удовольствие встретить такую девушку, как вы. Я спрошу чаю, и вместе откушаем.

Он вышел. Осторожно закрыл дверь. Клавдия отложила

работу и насмешливо посмотрела ему вслед. «Что ж! Играть так играть!» Она быстро отвернула угол «Пермских ведомостей», и сразу же статья, набранная жирным шрифтом, привлекла ее внимание: «О Пермской военной организации».

Рука вздрогнула. Быстро, лихорадочно замечкали строки:

...После ареста главной руководительницы Пермской военной организации СДРП Клавдии Кирсановой весной 1907 года снова названная организация начала развивать свою деятельность среди нижних чинов Пермского гарнизона. Не встречая среди масс нижних чинов особого распространения, эта организация приобрела небольшое количество деятельных членов из состава 11-го Пехотного Псковского полка, 232-го резервного батальона, Пермской конвойной команды, писарей Управления Пермского Уездного Военного Начальника и 54-го драгунского, ныне 17-го Уланского Новомиргородского полка, которые под руководством городских интеллигентов и интеллигенток распространяли между нижними чинами нелегальную литературу, проводили собрания и возбуждали своих соотарищей к производству активных выступлений против военного начальства...

Клавдия откинулась на спинку и закрыла глаза. Провал... Военную организацию она создавала с таким трудом, Значит, и Ян Суханек арестован. Тогда, после неудачного побега Трофимова, начальство наградило его орденом Святой Анны и чином ефрейтора. Теперь он в военной тюрьме. Очевидно, докопаются и до его роли в подготовке побега.

Горечь и боль переполняли ее сердце. Она почувствовала, что начинает бледнеть. Зябко передернула плечами и, достав шерстяной платок, накинула его на плечи. Отчаянно заболела голова. В глазах поплыли черные круги. Она незряче смотрела на работу, которую вновь держала в руках. Взяли... Взяли...

Из статьи Клавдия поняла, что объявлены ее поиски по делу военной организации. И если б она не сбежала из ссылки, то ее доставили бы под конвоем в Пермь. Опасность, которая ей угрожала, мало волновала. Она стала равнодушна и безучастна к своей судьбе. «Солдат теперь зверски бьют...» — терзалась Клавдия.

Удивленно взглянула она на Петра Петровича, не сразу поняв, почему в купе оказался жандарм. Петр Петрович держал в вытянутой руке кулек с огурцами и участливо спросил:

— Вы, я вижу, здесь скучаете. Решил дожидаться станции и прикупить огурчиков. Смотрите — рябые, с хрустом...

Клавдия плохо его понимала. Голос слышался откуда-то издалека. Петр Петрович старательно подкрутил аккуратнo

подстриженные усы и недоуменно взглянул на нее. Клавдия молчала. Петр Петрович вспыхнул от досады и растерянно положил кулек на столик. Клавдия провела рукой по глазам: с трудом воспринимала происходящее. «Можно ли представить большее страдание,— подумала она.— Узнать об аресте товарищей и выслушивать болтовню нагловатого жандарма!» Клавдия наклонилась над работой, руки ее быстро замелькали. Стежок за стежком, стежок за стежком. Петр Петрович осторожно кашлянул. Озабоченно нахмурясь, Клавдия посмотрела на его круглое самодовольное лицо. Посмотрела и низко наклонилась над работой. Хотелось побыть одной, подумать... И вдруг ее охватила такая тоска, что казалось, не хватит сил вынести и эту игру с жандармом, и эти горестные раздумья, и это стремление уйти от опасности.

Лицо ее стало серьезным и сосредоточенным. Глаза твердо и зорко встретили взгляд жандарма.

— Я тут пока вас ждала,— приглушенно заговорила она,— вспомнила родных, и так горько стало в одиночестве...

Петр Петрович пожал ей руку, сочувственно кивнул головой.

— Я ведь понятие имею. Это считают, что ежели жандарм, то и не человек... Хорошим людям я всегда помогу. Знаете ли вы, что такое жизнь? — Он поднялся во весь рост. Помолчал и, закатив глаза, хрипловато прочитал:

Жизнь — это серафим и пьяная вакханка,  
Жизнь — это океан и тесная тюрьма...

«Господи,— тоскливо подумала Клавдия.— Не хватало мне от жандарма услышать стихи Надсона... Вот что значит мода!» И сухо заметила:

— Что такое жизнь — стихами не определишь...

— Справедливо, очень справедливо. Когда везешь политических, они все больше стихи читают... Иногда очень душевные...

«Что ты понимаешь о жизни!» — закипало раздражение у Клавдии.

Она заставила себя улыбнуться и начала разрезать тонким ножом вареное мясо. Петр Петрович ел с удовольствием.

— Нет, Наталья Порфирьевна, что ни говорите, а стишки бывают очень даже прочувственные.— Он вытер платком усы, откашлялся:

Пусть жертвенник разбит — огонь еще пылает,  
Пусть роза сорвана — она еще цветет,  
Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает!

Глаза его округлились, губы сладко улыбались, и рука вновь коснулась девушки. Клавдия брезгливо отдернула свою руку. «Картина оболъщения из классического водевиля», — недобро подумала она, разматывая ярко-сиреневый моток шелка.

Дверь в купе открылась. Заглянул низкорослый человек. Он вежливо поздоровался и, увидев жандарма, торопливо закрыл дверь. Клавдия тихо усмехнулась: ширма превосходная!

Дни проносились, как верстовые столбы за окном вагона. Петр Петрович становился все более любезен и внимателен. А однажды, когда Клавдия вышла на остановке в Казани, Петр Петрович сделал ей предложение по всей форме.

Клавдии еле удалось погасить лукавые огоньки в глазах. Слушала скромно, низко наклонив голову. Петр Петрович, заглядывая ей в глаза, говорил:

— Я уж не молодой... Людей повидал, а такого человека, как вы, Наталья Порфирьевна, не встречал. У меня серьезные намерения. Есть сбережения. Человек я положительный и на семейную жизнь смотрю серьезно. Купим домик с садом... Заживем, как все хорошие люди.

Задумчиво смотрела на него Клавдия.

— Домик... Сад... — рассеянно шептала она. — Заживем, как все хорошие люди. — Ответила медленно, тихо: — Я и сама думала о семейной жизни. Мечтала о человеке положительном и серьезном. Я не бесприданница. Только без благословения родительского не могу дать согласия. Доеду до Москвы, а там сразу к тетке. Потом — в Тулу... — Опустила глаза и прибавила: — А тогда уж ждите...

Петр Петрович просиял, гордо взял ее под руку и повел в буфет «распить бутылочку шампанского». Так состоялась их «помолвка». Теперь он заботился и опекал ее открыто.

На стоянках поезда Клавдия несколько раз встречалась с низкорослым человеком. Он даже о чем-то разговаривал с Петром Петровичем. Только Петр Петрович рассмеялся и громко, чтоб его слышала Клавдия, ответил:

— Моя невеста. Едем к родным...

Низкорослый человек кисло поздравил его и вежливо откланялся. Клавдия перестала обращать на него внимание. Только как-то спросила Петра Петровича: о чем это хлопочет их попутчик?

Петр Петрович досадливо махнул рукой:

— Да все беглых из ссылки ловит... Какая-то курсистка, синий чулок, удрала из-под Иркутска. — И нежно прошептал: — Не тревожьтесь, моя голубушка, Наталья Порфирьев-

на... Это не должно интересовать вас. Это все политика. А вам, красавице, там делать нечего.

Глаза Клавдии сузились. Только влюбленный Петр Петрович ничего не замечал. Умильное выражение не сходило с его лица. Мысли о женитьбе захватили его целиком...

Клавдия старалась не говорить с ним о будущем. Рассеянно отвечала на его вопросы. Иные мысли и иные заботы тревожили ее. Пугала Москва. Что ее ждет?.. Товарищи приютят на первое время, свяжут с организацией. А если в Москве провал? В такие минуты она смотрела на Петра Петровича колюче, зло. А он терялся и мучился: чем это мог огорчить свою невесту?..

Москва их оглушила. Паровоз тяжело вращал красные колеса. Бегали и кричали носильщики. Толпились на перроне пассажиры. Пытливо заглядывали в лица господ в котелках, которых Клавдия определяла безошибочно. Филеры. Однако как их много в первопрестольной!

Петр Петрович нес плетеную корзину и не отрывал от Клавдии влюбленных глаз. Она шла спокойно, положив свою маленькую руку на руку Петра Петровича. Опустила на глаза шитую вуаль и в очередной раз уверяла его, что дня лишнего не задержится в родительском доме... Который раз Петр Петрович проверял: не потеряла ли Клавдия его адрес в Екатеринбурге. И Клавдия в доказательство раскрывала свой ридикюль...

На площади под часами они расстались. Петр Петрович усадил «невесту» на извозчика и долго махал вслед рукою.

Проехав по Мясницкой, Клавдия вновь вернулась к вокзалам. Сдала вещи в багаж, взяла нового извозчика и поехала к Зоологическому саду, на Пресню...

В этот холодный осенний день в саду народу было мало. По пруду плыли багряные листья осины, тоскливо и протяжно кричали селезни с подрезанными крыльями. Застыли черные лебеди в накрахмаленных оборках.

Клавдия опустилась на скамью. Рядом Пресня. Пресня, о которой так много говорено и слышано. Здесь, у Зоологического сада, тогда, в декабре, возвышалась баррикада. Отстреливались дружинники. Трепетал красный флаг, расползался пороховой дым, стонали раненые. Воображение нарисовало картину баррикадного боя столь явственно, что Клавдия вздрогнула. Долго смотрела она на кленовые листья, тронутые первым морозцем, поднялась и пошла к выходу. Замелькала



решетчатая ограда. Девушка оглянулась на черных лебедей и пруд, запорошенный опавшими листьями...

«Пресня» — белело на железном кружке деревянного двухэтажного дома. Клавдия заметила грузного дворника в фартуке с начищенной бляхой. Дворник не понравился. Слышала, как шумно он сметал мусор метлой... А вот и второе окно, завешенное голубоватыми гардинами. Но почему нет герани? Почему нет условного знака? В чернеющем парадном стоял господин в коротком пальто. Филер... Клавдия прошла мимо дома, опасаясь лишний раз повернуть голову. Ее догнал дворник. Снял толстую рукавицу и, откровенно разглядывая, спросил:

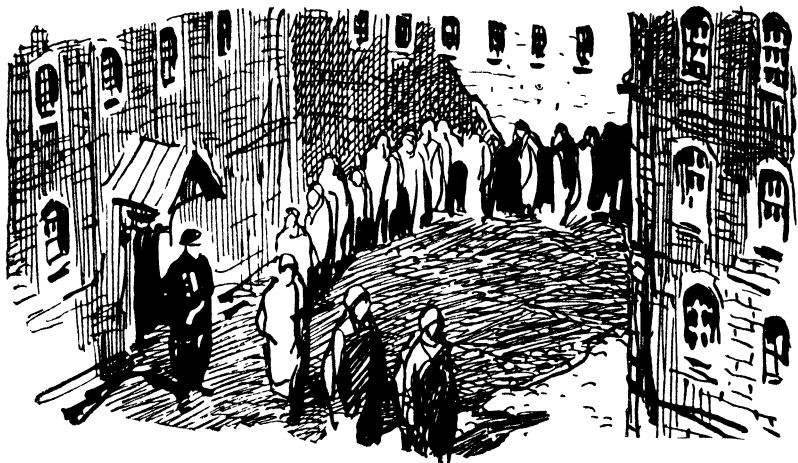
— Кого разыскиваете, барышня?

Клавдия смерила его презрительным взглядом и, поправляя шитую вуаль, бросила через плечо:

— Пора бы знать жильцов своей улицы.

Все. Провал. Кольцо сомкнулось.





## «МЕРТВЫЙ ДОМ»

### Каторжанка

«Репка, почему вернулась с прогулки?»

«Я не Репка».

«Кто ты?»

«Кирсанова».

Невысокая худощавая девушка перестала стучать в стену и недоуменно опустила на табурет. В камере, полутемной и сырой, стало тихо. Каторжанка застегнула пуговку на холщовом платье, подошла к окну, дотянулась до решетки. Выглянула. По тесному тюремному дворику, напоминавшему колодезь, прохаживалась Репка, ее соседка по одиночке. Девушка вернулась к койке, привинченной к каменному полу. Прислушалась к шагам надзирателя и вновь застучала:

«Подтверди, если Кирсанова!»

«Рожденный ползать — летать не может!» — ответила соседка.

— Егорова! Кирсанова! Прекратить перестукивание! — хрипло прокричал надзиратель, незаметно подкравшийся к «волчку». — В карцер захотели!



Егорова презрительно передернула худенькими плечами, оттопырила нижнюю губу. Надзиратель постоял, посмотрел в «волчок». Отошел, громыхнув связкой ключей и тяжело стуча сапогами.

Девушка провела рукой по стриженным коротким волосам и, взяв деревянную ложку, вновь постучала.

О Кирсановой она слышала по громкому процессу боевиков, процессу «Двадцати двух», когда питерцы с Сибиряком бросились с кандалами на тюремщиков. На этом же процессе Клавдия ответила прокурору горьковской фразой: «Рожденный ползать — летать не может!»

В Перми Егорова оказалась не по своей воле. Она работала в Екатеринбурге, в типографии. Арестовали ее осенним вечером на конспиративной квартире по доносу провокатора. При обыске нашли бомбы. Готовился побег из тюрьмы. Егорова к подготовке побега была непричастна, но показания дать отказалась. Ее судили и приговорили к каторге. Из Екатеринбургской тюрьмы препроводили в Пермскую. Так она оказалась в Перми.

Глухо щелкнул замок железной двери, вошла Тихонова, ее напарница по камере. Последнее время она стала сильно прибалывать и ходила к фельдшеру на уколы мышьяка.

Тихонова, статная и синеглазая, взяла со стола железную кружку и сделала несколько глотков.

— Новость, Ксения. В соседнюю камеру привезли Кирсанову. Взяли по чужому паспорту. Ждет суда за побег из ссылки. Здесь против нее возбуждено еще одно дело по военной организации. Наверняка Кирсанова года четыре каторги получит.

— Мы уже познакомились. Слышу, в соседней камере проскрипела дверь. Удивилась: почему Репка так быстро вернулась с прогулки? А это оказалась Кирсанова.

Егорова, повязав голову белой косынкой, передвинула ногой табурет, прикованный цепью к крюку. Ждала сигнала на прогулку.

— Кирсанова! Егорова! Выходи!

— Захвати бушлат,— посоветовала Тихонова.— Свежо, да и ветер неприятный.

Мигала лампа под сводчатым потолком. Егорова шла впереди. За ней в нескольких шагах — Кирсанова. Останавливаться и переговариваться по тюремным правилам не полагалось, и все же Егорова не утерпела. Повернула голову и увидела веселые карие глаза новой каторжанки. Клавдия улыб-

нулась. Невысокого роста, полная. Лицо круглое, нос тонкий, прямой. Одна коса перекинута на грудь. На сером каторжном платье — белый воротничок. Егорова улыбнулась в ответ и кивнула новой знакомой.

Дворик для прогулок был небольшим. В центре возвышалась клумба с блеклыми цветами — гордость начальника тюрьмы. Кругом тишина. Лишь глухо стучат грубые юфтовые коты на ногах каторжанок.

Стоял август, и холодный северный ветер порывисто метался между угрюмыми корпусами. Дрожали солнечные блики на окнах тюремной канцелярии, темнели решетки на «башне».

Клавдия оглянулась по сторонам, задержала взгляд на «башне», в которой все еще томился Трофимов, чудом тогда выживший. По соседству — Меньшиков и Глухих. Лицо ее стало печальным. Под глазами густой паутиной собрались морщины.

— Решетки... Куда ни оглянись — решетки! Российский пейзаж! — проговорила Клавдия. — В тюрьме даже ноготки кажутся диковинными цветами. Бархатистая сердцевина и бледно-зеленые стебли. Поблекшие, словно и они в заточении.

У тюремной канцелярии стоял старший надзиратель. Клавдия запрокинула голову и увидела клочок голубого неба, опирающегося на тюремные корпуса.

— Колодец, колодец! — Клавдия перекинула на грудь косу и протянула Егоровой руку.

— Давай познакомимся. Вот ты какая! — И, немного отстраняясь, добавила: — А то все — Егорова, Егорова... Не будь тюрьмы, где бы революционерам и встретиться? — Клавдия рассмеялась.

Засмеялась и Егорова. Солнце из-за туч золотило каштановые волосы Клавдии.

— Ну и косы у тебя, Клавдичка, — с завистью заметила Егорова. — А я никак отрастить не могу.

— Ты давно здесь? — спросила Клавдия.

— Скоро два года. Первое время в каторжном отделении из политических одна была. Вместе с уголовными, в старом корпусе. Жутко вспомнить. Нар не полагалось, бросили кошму с соломой да клопами. Уголовные спят вповалку, вонь, смрад. Видно, женщин настроили против меня. Они и кошму положить не разрешили — так и спала сидя. А крыс... Тут еще рыжая Любка, каторжанка, вечно пьяная, в кандалы закованная.

Какое-то убийство за ней числится. Любка эта мастерицей была, кружева вязала — загляденье! Сидит в углу, гремит кандалами и кружево плетет. Продаст в тюремную больницу, санитары напоят ее валерьянкой. И начнет она плясать да сквернословить. Страшно! Тут же и детишки отбывают срок вместе с матерями. Если б ты видела их, Клавдичка! Бледные, худые... Женщины стирают целый день. Платят десять копеек и обсчитывают за продукты в тюремной лавочке. Я вступилась. Обсчитывать перестали, а мне надзиратели пригрозили: «Изобьем».

Егорова рассказывала неторопливо, с каким-то затаенным страданием.

— За нашей камерой был цейхгауз с арестантским бельем. Каждый день через нас проходили кандальники. Впереди старший надзиратель, а за ним гуськом — каторжане. Крик, ругань, непристойности! Я не пуглива, на динамите спала, но тут... Камера — сущий ад. Как-то вышла я из толпы этих озверевших людей, подошла к каторжанину с серебряной серьгой. Говорю ему: «Передайте, пожалуйста, на башню: политическая Егорова отбывает каторгу. Прошу прислать книги». С серьгой обещал все исполнить. И точно. Утром принесли мне Салтыкова-Щедрина. Вот этот томик и подружил меня с уголовными. Собрала детишек и стала им сказки читать. Слушали всё, как откровение. Потом и ругаться начали реже. Перестали называть меня «барышнюшкой политической». — Ксения помолчала, поправила косынку. — Грамоте их учила, истории всякие рассказывала... Тянется народ к правдивому слову. Частенько к нам захаживал Шкалик. Что удивляешься? — улыбнулась она. — Надзирателя так одного прозвали. Он надумал гонять меня полы мыть то в контору, то в церковь. Вот, дескать, глядите — политическая, а полы моет! Присядет в конторе на край стола и смотрит, как я на четвереньках ползаю. Сердце тогда у меня болело: отеки, одышка, еле ноги двигала. Ну, а ему полное удовольствие. Улыбочка ползает, усы торчат тараканьи. Как-то я сказала в камере: «Пойду завтра пол мыть да контору и подожгу. То-то пепла из бумаги получится!» Шкалику донесли, он и отстал.

Клавдия рассмеялась.

— Хорошая ты, простая, — улыбнулась ей Егорова. — Недаром тебя все зовут Клавдичкой. Легко с тобой, рада я тебе...

— Ну, будем друзьями, — сказала Клавдия и, приблизив лицо, добавила: — Понимаешь, Ксения, тяжело на душе у ме-

ня. За побег из ссылки — каторга обеспечена. Знала это, но все же сидеть там не могла. Душа горит, дела просят! Надвигается революция, а мы в тюрьме! Надо работать: хоть листовки разносить по городу! Бежала из ссылки и все мечтала в поезде — путь-то не малый — товарищей встретить. А товарищи-то все тут: Суханек, Володя Урасов. Ты Урасова не знаешь? Замечательный парень, мой друг... Эх, нам бы на воле свидеться... Я-то уж была на воле, до Москвы добралась. Все, кажется, хорошо. А явка-то моя провалилась. Что делать? Потолкалась в Москве: денег нет, связей нет, решила в Тулу, к сестре. Сестра приняла хорошо. Ухаживала за мной, как за ребенком. Только все плакала, пугаясь каждого шороха, каждого стука в дверь. Надо уезжать. Решила, а сказать сестре боюсь. Глаза у нее как у мамы, и такая в них тоска и страх за меня! Молчала-молчала — не могу сидеть без дела. Поцеловала сестру — и в дорогу. Та в слезы. Словно чувствовала, что меня каторга ждет. Поехала в Харьков. Город шумный. Нашла одну студентку, из наших, связалась с организацией. Начала работать, крылья выросли, но только недолго. Студентку арестовали, а хозяйке, у которой она снимала комнату, предъявили мою карточку. Напали-таки на след негодяи. Но та оказалась порядочной: меня по карточке не признала, а вечером предупредила, денег дала. Решила я счастье попытать в Москве. Только там прошли аресты, поэтому и организацию не нашла. Пресню забыть не могут! Вернулась в Тулу, к сестре. Опять мягко спала да сытно ела. И опять жизни нет — задыхаюсь! Тронулась в Саратов. Первые дни все Волгой любовалась: какой простор! От всех наших гнусностей российских душой отдыхаешь... Ну, начались провалы и там. Эх, думаю, за границу надо. Знаешь, Ксения, обложили меня, как волка. Куда ни сунешься — провал. Вот и решила уехать. А как проститься с мамой? Такая тоска меня взяла. Ночью лежу и все маму вспоминаю, чуть не плачу. Послала со всякими предосторожностями письмо в Пермь и попросила ее приехать.

Егорова нагнулась и осторожно начала расправлять на клумбе оранжевый цветок. Повернула его к солнцу. В голубых глазах ее — слезы: давно уж не было у нее матери.

— Мама ответила. Стала я ее ждать. А тут зима наступила. Лед на Волге. Вот, мечтаю, вскрыется река, тогда и мама придет. Поступила гувернанткой к Разумовым. Семья интеллигентная, обеспеченная. Хозяин — помощник присяжного поверенного. Дочки его ко мне привязались. Занималась с ними немецким. Странная семья. Впервые я поняла, что значит

«одиночка-интеллигент». — Клавдия перехватила растерянный взгляд Егоровой. — Так себя хозяин называл. Неудовлетворенность жизнью, протест, злость, слова — это да, это есть, а решимости нет! Сидит за рюмкой. Глаза пустые, пьяные, а сам все о революции говорит. «Так как же она придет, если все будут болтать да по теплым углам сидеть?!» Как-то не утерпела я. А потом ругала себя. Обыватель! Приходили к нему друзья, такие же, как и он, раздавленные страхом. Разумов, помню, часто стихи Мельшина читал. Знаешь, вот эти, горькие:

Пришли мы в мир с горячею любовью  
К униженным, к обиженным, ко всем,  
Кто под крестом борьбы, сам истекая кровью,  
На стон собратьев не был глух и нем;  
Пришли мы в мир с решимостью великой —  
Мир погибающий от гибели спасти,  
От бойни вековой, бесчеловечной, дикой...  
И что ж? Нас распяли, предав на полпути!

Потом уронил бородку на стол и плачет. Смотрела-смотрела я на него и возмутилась: «У Мельшина, говорю, стихотворение не этими строками кончается.

Пока есть капля крови в жилах,  
Не будем плакать на могилах —  
Идем бороться, мыслить, жить!»

Он выслушал и только рукой махнул. Нет, Ксения, я жизнь по-другому понимаю:

Любить людей любовью беспрдельной,  
Зло ненавидеть злобою смертельной...

Послышался свисток надзирателя, прогулка окончена.

**«Прощайте, товарищи!»**

На втором этаже «нового тюремного корпуса» в камере номер четыре Володя Урасов.

Многое изменилось в его жизни с того дня, как арестовали в городском театре. Ссылка в Вологодскую область, этап до Вельска, пыльного городишка. Шли усталые, голодные, в наручниках, как уголовные. В ссылке оказалась крепкая группа большевиков. Товарищи приняли Урасова в свой круг. Обрадовались, когда узнали, что он знает подпольную печатную технику. Начали выпускать листовки и распространять их по

деревням. А Первого мая политические вышли на демонстрацию с красными флагами.

Прошли два года ссылки, Урасову разрешили вернуться в Пермь. Хотел он устроиться на завод братьев Каменских — не приняли. Партийную организацию охранка разгромила основательно: кто ушел в Сибирь, кто закончил жизнь на эшафоте. Как-то в руки попала газета «Пермская земская неделя». Отец ее припрятал, когда сын был в ссылке. Долго держал ее Володя в руках, много раз перечитывал строки, обведенные черной рамкой:

22 апреля в гор. Вятке временным военным судом рассматривалось дело по обвинению мотовилихинского сельского обывателя Александра Михайловича Лбова, именующего себя непомнящим родства — Семеном Лещем. Лбов, он же Лещ, обвинялся в предумышленном убийстве полицейского стражника Селюнина в гор. Нолинске, Вятской губернии, при исполнении последним служебных обязанностей. Военно-окружной суд признал Лбова (он же Лещ) виновным в приписываемом ему убийстве, и установленное настоящее его звание (Александр Лбов, известный экспроприатор), и на основании 279 ст. КИ 22 св. военных постановлений приговорил Лбова за убийство стражника Селюнина, по лишению всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение, причем приговор вошел в законную силу в 6 часов вечера... Александр Лбов выслушал приговор спокойно. В ночь на 2 мая в гор. Вятке в тюремной ограде совершена казнь над осужденным военным судом Лбовым, переведенным перед самой казнью из арестантских рот, где он содержался в тюрьме. Передают, что Лбов отказался от исповеди и причастия, заявив, «что его совесть чиста».

Газета выпала из рук. Закружились стены, надвинулся потолок и рухнул. Володя уронил голову на руки и долго плакал...

Володя разыскал кое-кого из боевиков в Мотовилихе. Встретились за Камой, в лесу. Товарищи сразу же посоветовали ему уехать в какой-нибудь большой город. Раздумывал долго: жалел отца. Потом достал паспорт и решил скрыться. Беспокоил лишь склад оружия и динамита, тщательно запрятанный в амбаре. Более двух лет пролежали в тайнике винтовки и динамит. Добрый тайник они с батькой соорудили: метра два глубиной, а сверху дерном и дровами завален. Сколько обысков в доме было — тайник уцелел!

Несколько ночей провел Володя в амбаре. При свете пятилинейной лампы открыл тайник, достал оружие, смазал, почистил. По решению комитета сдавал все своему товарищу.

Августовской ночью переносили оружие в другое место. Переносили осторожно. Их схватили на Большой Ямской.

Володя и сейчас не мог понять, как все произошло. Они отнесли партию винтовок и возвращались к амбару. Володя остался на пустыре, за домом, и послал друга в разведку. Ударил сторож в колотушку. Залаяли собаки. Из-за плотных туч выплыла луна и проложила серебряную полосу к дому. В лунном свете дом показался таким приземистым и родным, что у него защемило сердце. У раскрытых ворот Володя увидел силуэты. Его смутили шляпы. Думал, что товарищи прибыли на явку из Питера. Он окрикнул их, и тут же на него набросились. Володя вскинул винтовку, хотел стрелять, но товарищ повис на нем: «Опомнись... Мы ведь окружены, кого спасет твой выстрел!»

Полиция выросла словно из-под земли, взяв их в «подкову». На операцию прибыл полицмейстер, пристав, жандармы. Случайности быть не могло. Значит, опять провокатор! Но кто? Кто знал об этом? Знали такие проверенные и близкие люди, что Володя и подумать на них не мог! Дальше все шло своим чередом. Володю ввели в дом. Братьев, сонных, испуганных, полиция загнала в угол. На отца, Александра Ивановича, навели револьвер. Он держался достойно, только все поглядывал на самодельный сундучок, с которым утром сын уехал бы в Питер. Ночи не хватило, одной ночи!

Сын удивил его хладнокровием, отец отметил: власти боятся его сына!

Володю посадили к столу, руки подняли к голове, туго скрутили ремнем. Да еще и револьвер к виску приставили. Офицер торопливо составлял протокол.

— Где достали динамит, Урасов?

— Сами должны знать.

— Как это понять?

— Узнали же, когда склад переносили. Узнаете и остальное. Все расскажет гад, за то и деньги ему платите!

— Стреляная птица! Научился в ссылке разговаривать.— Жандарм бросил перо и взглянул на полицмейстера.

Полицмейстер, полный и крепкий мужчина, опасливо притронулся к корзине с динамитом и в разговор не вмешивался.

— Отец, знай—я бежать не намерен!—Володя в упор посмотрел на жандарма.—Убить меня «при попытке к бегству» им не удастся. А если так случится, значит, застрелили по дороге. Давно проверенный фокус!—И он зло рассмеялся.—Я таких «попыток» делать не буду. Попомни мое слово...

— Удивительно предусмотрительный молодой человек! — ухмыльнулся жандарм.

Проститься с отцом Володе не дали. Отец кричал:

— Утром прибегу в тюрьму. Ответите за сына!

Загромыхали тяжелые сапоги по шатким ступеням лестницы. Полиции пришлось пробираться сквозь толпу. Люди кланялись Володе в пояс. Бабы ревели, а мужики хмурились. Отец выскочил из дому, весь дрожит, кричит людям.

— Помните — сын бежать не собирается! Убьют его, пока до тюрьмы ведут, убьют и скажут: при попытке к бегству! Свидетелями, православные, пойдете!

У высокого крыльца стоял бородач с Мотовилихи. Лицо черное, заросшее, лишь глаза сверкают. Бросил бородач самокрутку, гаркнул:

— Пошли до тюрьмы! Проводим парня!

Володю погнали вдоль Большой Ямской, засаженной редкими соснами.

В ту ночь в Перми прошли аресты. Охранка готовила процесс, по которому привлекался и Урасов. Его ждала каторга. Долгими ночами, лежа на тюремной койке, глядел он на клочок неба и гадал, под какую его подведут статью?

...Камера Клавдии оказалась на втором этаже. Там же сидел и Володя. Стучала Клавдия. Ответить Володя не успел — дверь в соседнюю камеру отворилась. Послышался визг помощника начальника тюрьмы Ямова.

— Кирсанова! В карцер! Перестукивание запрещено!

Маленький, обросший рыжей щетиной помощник начальника тюрьмы Ямов нервничал: с Кирсановой всегда приходилось трудно. Веки на красноватых глазах набухли, склеротические прожилки на толстом носу посинели.

— В карцер! Нарушение инструкции!

— К сожалению, вы не советовались со мной, когда составляли инструкцию! — Она поднялась с койки, положила на стол деревянную ложку, которой стучала, и спокойно натянула облезлый бушлат.

Кетова, ее соседка по камере, виновато подала чайник. Она стояла у «волчка» и наблюдала за надзирателем, когда Клавдия начала переговариваться. А потом задумалась и не заметила, как он подкрался.

— До свидания, Генеральша. — Клавдия улыбнулась краем губ и подала ей руку.

Рыжие брови Ямова взлетели вверх. «Генеральша»?! А потом вспомнил: Кетова — дочь статского советника, вся тюрьма



ее в шутку называет Генеральшей. Кетову арестовали вместе с братом в Екатеринбурге, а потом перевезли в Пермь. Брат ее, такой же высокий и худой, сидит в крепости. А сестра здесь, в пятой камере. Это она обращалась с просьбой улучшить режим брату, ссылаясь на его тяжелое моральное состояние. Его жена находится в психиатрической больнице. Сошла с ума, когда везла в Сибирь динамит. Ямов скривился: словно кто принуждал их возить динамит и сходить с ума!

Кетова вновь взяла у Кирсановой чайник и долила водой. Она грустно посмотрела на Клавдию и глухо сказала:

— До свидания, Клавдичка... Недолго пришлось посидеть вместе...

— Насидитесь еще — время будет! — зло буркнул Ямов и пропустил Клавдию вперед.

Карцер в «новом тюремном корпусе» напоминал тесный каменный мешок. Шершавые слезящиеся стены, холодный цементный пол. Полумрак. Массивная дверь.

На этот раз это был так называемый светлый карцер. Под самым потолком оконце в бахроме паутины. По стене ползают мокрицы, Клавдия их всегда боялась. Она гадливо передернула плечами и, поставив чайник у двери, начала изучать стены. О чем только они не рассказывали! Клавдия читала стихи, выбитые гвоздем:

Проклятье тюремщикам, слугам насилия,  
Проклятье вам здесь и повсюду!  
Пусть клич наш умчится  
На волю к рабочему люду!

В слабой полосе света, отбрасываемой решетчатым оконцем, белели еще строки:

За мое к свободе рвенье  
Дал мне царь на много лет  
Даровое помещение,  
И прислугу, и обед ..

Раскинув руки, Клавдия уперлась в стены «дарового» помещения. Стуча котами, двинулась, выставив плечо. Это старый прием — в темноте легко расшибить лицо. Хорошо еще, что «светлый» карцер не такой строгий, как «темный». Правда, она побывала здесь и в «темном». Тогда лишь по звону кандалов определяла время суток. Даже «волчка» в двери нет —

изолировать так изолировать! И Клавдия вновь порадовалась бледной и дрожащей полоске света, пробивавшейся сквозь паутину. Тряхнула косами, запела:

Побежденный на востоке,  
Побежденный на Руси,  
Будь же проклят, царь жестокий,  
Царь, запятнанный в крови...

За дверью загремели кандалы. Видно, у каторжанина отстегнулся ремень, цепи лязгали по камню. А может быть, надзиратель кого-то вел в карцер и отобрал ремень.

Она вновь притопнула котами, еще громче пропела:

Ну что за божья благодать:  
Крамолы проiski убиты,  
Корой древесной люди сыты —  
Повсюду тишь, повсюду гладь!..

В коридоре захохотали. Послышался сердитый окрик, и раскрылась маленькая форточка, словно квадратный глаз. Надзиратель заглянул в карцер:

— Госпожа Кирсанова! Перестаньте. Наденем смительную...

— Ну, уж сидеть в вашей вонючей дыре да не петь! — И, подойдя вплотную к квадрату, наставительно закончила: — Говорила Ямову и повторяю вам: администрация должна согласовывать режим с заключенными. Поскольку я не принимала участия в его разработке, то правила поведения буду определять сама! А теперь потрудитесь закрыть форточку и оставить меня в покое, как гласит инструкция.

— Опять за старое, госпожа Кирсанова! — проворчал надзиратель. — Пора бы и образумиться!

— Доложу по начальству, что вы вступаете в недозволенные разговоры с заключенными. — Она придвинулась, и лицо ее приняло наивно-доверчивое выражение. — Может быть, записочку подружке передадите или подскажите, чем можно в карцере заниматься! А?!

— Пфу... — Надзиратель махнул рукой и захлопнул квадрат.

Товарищи, братья, друзья!  
Не падайте гордой душою,  
Ходите, веселость храня,  
И с поднятой вверх головою!

Клавдия прислушалась. Надзиратель стоял под дверью и молчал.

— Вот теперь дело! — удовлетворенно проговорила она и схватилась рукой за щеку.

Зуб отчаянно болел. От резкой, дергающей боли, которая подкралась неожиданно, у нее выступили капельки холодного пота.

Ей и Егоровой на днях дантист подготовил зубы к пломбированию. Клавдии — один, Егоровой — несколько. Дантист был свой человек. Он приносил записки, письма, запрещенные книги. Работал он не спеша. Надевал на тонкий крючковатый нос роговое пенсне и, включив бормашину, начинал рассказывать о новостях на воле. Они дорожили этими встречами. И Клавдия не пожалела свой зуб, здоровый и крупный, как жемчуг. Садилась на высокий стул, откидывала голову на спинку и слушала, боять хоть слово проронить. Иногда постанывала, охала. Работу дантист не заканчивал. Так случилось и в последний раз. Он снял эмаль, обнажил нерв, подготовил зуб, вручил письмо от товарищей — и ушел. Только больше не появлялся. Она слышала, что его неожиданно обыскали в канцелярии. Дантиста арестовали.

И вот зуб проклятый! Холод его доконает. Она замотала голову косынкой, подняла воротник бушлата. Не помогло. Налила кружку воды и отломала кусок вязкого, сырого хлеба. Хлеб прилипал к зубам, а боль от холодной воды сделалась нестерпимой. Клавдия, заткнув уши ватой, чтобы не наполнили мокрицы, свернувшись калачиком, прилегла на плиты камня и заставила себя заснуть...

За дни, когда Кирсанова была в карцере, в одиночке номер три, предназначенной для особо важных преступников, появился новый арестант, Мерзляков. Обвиняли его в убийстве пристава в Ижевске.

— Пристав был гад, — пощипывая русые брови, говорил он Володе Урасову. — Увечил рабочих, как дикий зверь. Я его предупредил: брось, говорю, сволочь, а то, гляди-ка, найдутся руки!.. А тут дружка моего, Васятку, сгребли. Пристав измучил его в кровь, два ребра сломал, зубы пересчитал. Несколько суток Васятка без сознания провалялся. Ну, я и не выдержал. Ночью подкараулил да и уложил из маузера. Тут меня и взяли: знали, что грозился. Маузер нашли, но никто ведь не видел... Как говорится, улик-то прямых нет! Не могут же присудить к смертной казни? А? Как ты думаешь? Ведь не могут? Правда?

Он с тревогой смотрел на Володю.

— Не могут! Факт! Нет улик! — соглашался Урасов.

Мерзляков веселел и начинал долгий разговор о жизни, об ужасах и беззакониях, творимых на заводе...

И все же Мерзлякова присудили к смерти. С суда он уже не вернулся в камеру. Он стал узником третьей одиночки. К ней приставили нескольких надзирателей, и они следили за каждым движением смертника.

Володя Урасов не отходил от стены и стучал почти открыто. Косточка указательного пальца вспухла, кожа сбилась.

Начались страшные дни ожидания. Вот тогда, после карцера, и вернулась в камеру Клавдия.

Она сразу поняла — беда, увидев усиленный наряд надзирателей в коридоре.

— Мерзляков? — прошептала она, обнимая Егорову.

Ксения кивнула. Она поспешно встала и налила Клавдии стакан кипятка, руки ее дрожали. На побледневшем лице резко выделялись покрасневшие глаза и набухшие веки.

— Так ведь улик-то прямых не было! — возмущилась Клавдия, обхватив посиневшими пальцами кружку.

— Нашли... — устало ответила Ксения, и голос ее дрогнул. — Не спим какую ночь... Ждем, чтобы проводить...

Тяжело вышагивали надзиратели. В эти вечерние часы, когда солнце скользило по зернистой стене, камера показалась Клавдии склепом. Она вздрогнула и испуганно посмотрела на Ксению, боялась, что та прочтет ее мысли. Ксению трудно было узнать: так изменилась за эти дни. Клавдия жадно пила кипятком. Но и он не спасал от озноба.

Клавдия уселась на кровать и начала стучать Мерзлякову:

«Дорогой друг, послушай прекрасные строки:

Но чтоб вал пришел девятый,  
Вал последний, роковой,  
Нужны первые усилья,  
Нужен первый вал... второй...»

Клавдия горестно сжала голову руками — какие нужны слова, когда смерть стоит на пороге! Она схватила выщербленную ложку и опять застучала:

«Всем сердцем с тобой в эти последние дни. Любим тебя и всегда будем помнить. Что нужно? Все сделаю!»

«Спасибо, Клавдичка. Меня тут и Володя, и Ксения не забывали... Дорогие мои, хорошие... Ты лучше расскажи, как твой зуб в карцере?»

Загремел засов. Появился надзиратель, по кличке «Шик». «Молод, красив и шикарен», — с издевкой говорила о нем Клавдия. Надзиратель пропустил уголовного с бачком. К дверям поднесли ушат с кипятком.

— Что приуныли, невесты? — прошепелявил тот, обнажив прокуренные корешки зубов, и участливо добавил: — Сегодня разлука! Получайте!

— Ишь разговорился... Кавалер! — оборвал его надзиратель.

Уголовный влил в бачок с вдавленными боками несколько половников и ушел. Из бачка повалил густой пар. Клавдия машинально помешала ложкой «разлуку»: кровавые сгустки печени, куски легкого, коровьи зубы... Б-р-р!

Ксения взяла с подоконника «динамит» — ломти вязкого серо-грязного хлеба. Его клали на ржавые решетки для просушки. Кетова вопросительно поглядела на подруг и, подражая артельщикам, постучала ложкой по краю бачка. Обычно стук этот их всегда смешил, но сегодня никто не обратил на него внимания.

— Ешь, Клавдичка.

Клавдия поднесла ложку ко рту, но стена, плачущая крупными слезами, ожила. Стучал Мерзляков:

«Сегодня казнь!»

«Откуда? — метнулась к стене Клавдия. — Откуда?»

«Приходил начальник тюрьмы. Спрашивал, нужен ли священник. Отказался. Вы и так петлю наденете. Зачем священник!»

В эту ночь тюрьма не спала. Заключенные поделили в камерах ночные часы. Дежурили. Клавдия лежала молча. Чудились воровские шаги тюремщиков в войлочных туфлях. Она вскакивала с койки и подбегала к «волчку», чувствовала себя бессильной в этой каменной могиле. Ах, если бы удалось открыть дверь!

И все же они пропустили момент, когда надзиратели пришли за Мерзляковым. И тем оглушительнее взметнулся его голос:

— Прощайте, товарищи! Палачи пришли! Живите! Не поминайте лихом!

Тюрьма ожила вмиг. Забегали, закричали в камерах. Клавдия колотила кулаками в железную дверь. По щекам ее текли слезы.

— Прощай! Прощай!

К Клавдии подошла Ксения. Они обнялись. Громыхнула

дверь у железной витой лестницы. Все стихло. Тюрьма замерла. Увели...

И в звенящей тишине раздался высокий и страстный голос. Клавдия пела, глотая слезы, пела, сжав кулаки:

Вы жертвою пали в борьбе роковой  
Любви беззаветной к народу,  
Вы отдали все, что могли, за него,  
За честь его, жизнь и свободу!

Песню подхватили. Пели товарищи, пели братья по партии. И Мерзляков услышал эту песню...

## Пятая камера

Клавдия в холщовом каторжном платье, заложив руки под серый фартук, стояла посреди камеры и презрительно гнусавила:

— По указу его императорского величества временный военный суд в городе Перми, выслушав дело о крестьянке Клавдии Кирсановой...— она перевела дух,— суд признал Кирсанову виновной в подговоре, учиненном по соглашению с другими лицами, составить сообщество с целью насильственного изменения в России, путем вооруженного восстания, установленного законами основного образа правления и замене такового демократической республикой, каковое сообщество, однако же, не сотворилось, а потому и на основании последней части второй статьи Уголовного Уложения — в каторжные работы на три года, как лишенную уже ранее всех прав состояния...— Клавдия смешливо наморщила лоб и весело закончила: — А я-то и не знала, что у меня в России так много прав, а главное — состояния! Знаменитым человеком становлюсь, товарищи! Сразу два процесса! Процесс о побеге из ссылки... Теперь привлекают к дознанию по делу о военной организации. Хорошо, если каторгу придется отбывать здесь... Слушай, Ксения, а прокурор со своим хохлом, ей-богу, похож на мокрого петуха, я еле сдержалась — так и хотелось дернуть за этот хохол...

— Все шутишь, Клавдичка,— с ласковым укором проговорила Кетова.

Она сидела у окна, ловила последние лучи солнца. Продолговатое лицо ее сейчас казалось особенно бледным. Клавдия, вздохнув, перевела взгляд на Ксению Егорову. Глаза их встре-

тились, и Клавдия увидела такое участие, что у нее перехватило дыхание. «Нас трое,— подумала Клавдия,— нас трое в этом сыром каземате, и только товарищество спасет нас. Только бы не утратить бодрости, не поддаться тюремной тоске. Книги, занятия иностранным языком. Да, да, языки непременно! Вот Кетова молодцом — грозитя стать полиглотом на «даровых харчах» А Ксению вопросы политической экономии влекут. Так и надо! Иначе не выдержать...»

Клавдия неторопливо расчесывала длинные волосы и думала, думала. Почему Ксения все время молчит? Она пытливо поглядела на Ксению, бледную, мрачную:

— Ксения! Что случилось? А?

— Отец меня хочет сделать «подаванкой».

— Как?

— Матери я почти не помню, отец мне мать заменил. Вчера приехал из Екатеринбурга, пишет, что хочет подать прошение на высочайшее имя. Просить милости...— Голос ее дрогнул.— Четыре года каторги и вечное поселение, видно, испугали его. Письмом своим всю душу мою... И как это он не понимает? А ведь ближе никого на свете нет...

— А ты? — осторожно спросила Клавдия.

— Я? — удивилась Ксения.— Я написала через тюремную канцелярию, что, если он подаст прошение, покончу самоубийством. Какой еще выход?!

— Отец поймет,— не очень уверенно заметила Клавдия...

— Да... Он прислал ответ. Тоже через канцелярию.— Она протянула Клавдии лист бумаги.

Письмо было короткое: «Кто не слушается мать-отца, тот послушается тюремного колокольца!»

Подошла к столу и Кетова, отложив книгу. Начали разглядывать розоватую бумагу, перекрещенную бурыми полосами: администрация, боясь молочной тайнописи, обрабатывала письма йодом.

— Разукрасили! — усмехнулась Клавдия.— И родительских писем не уважают...

— Он всегда любил стихи и меня приучил...— как бы оправдывая отца, сказала Ксения.— В тюрьме стихи словно живая вода. Начнешь читать — человеком себя чувствуешь. Вот хоть эти:

И тихо и светло — до сумерек далеко,  
Как в дымке голубой, и небо и вода,  
Лишь облаков густых с заката до востока  
Лениво тянется лиловая гряда.

Клавдия слушала, отрешенно смотрела на закатное солнце. Но вот и оно зашло, скрылось где-то там, далеко-далеко, и сумрак сгустился в камере, и будто еще тише стало в тюрьме.

На шнурке из коридора опустили пятилинейную лампу. Дважды щелкнул замок, вошел надзиратель, поднес спичку к лампе, и блеклый свет разлился по камере.

— Эх, Буркин, Буркин, и зачем вы зажгли эту коптилку? Только сердце разбередили,— тихо проговорила Кетова.— Уж лучше б чайку принесли.

— Не положено по второму разу,— беззлобно отозвался надзиратель и, волоча ноги, ушел.

Клавдия налила в кружку воду и стала держать ее над лампой. Стекло быстро покрылось копотью, противно запахло керосином, но Клавдия не сдавалась:

— Решено: будем на лампе греть воду. Все же лишний раз горячее. А? Первый стакан Ксении, потом тебе, Генеральша. Когда я из Сибири бежала и останавливалась в Екатеринбурге, удивительные вещи услышала про Михалыча. Ты, Ксения, знаешь Михалыча. Там, в седьмой камере, старостой его выбрали. Это уж у него вроде тюремной профессии: всегда старостой избирают... Приходит как-то начальник тюрьмы, Свердлов ему и говорит: «Нужен на ночь кипяток!» Так его и вижу: прямой стоит, говорит корректно, с убийственным спокойствием... Эх, и хочется мне Михалыча повидать! — Клавдия переменила затекшую руку, продолжая держать кружку над лампой.— Сказал Михалыч раз, повторил другой, ссылаясь на какие-то ему известные тюремные инструкции, начальник и разрешил. Но только седьмой камере. Свердлов протестовать — почему, дескать, одной камере, надо всем. Начальник заупрямился. Яков Михайлович думал, думал и придумал. Прodelали отверстие в соседнюю камеру. Шило у Михалыча нашлось — передали с воли: запекли в хлеб и передали. И в это отверстие вложил жестяную трубочку. Пошло дело! Михалыч садился на корточки и, обжигая руки, лил из чайника кипяток в трубочку, а там уж соседям — только кружки подставляй. На день отверстие заделывали черным хлебом...— Клавдия старательно разлила нагретую воду по кружкам, поставила на стол: — Пора укладываться. А на ночь тепленького хлебом, оно и хорошо.

Клавдия аппетитно откусывала от горбушки, запивала хлеб редкими глотками. Половину горбушки положила под подушку. Ночью набегут мыши и усядутся на железной спинке кро-



вати, свесив длинные голые хвосты. Как начнут наглеть и полезут по волосам, так нужно хлеб бросать на середину камеры. Мыши сбегут по жидким прутья, начнут драку.

В окно пробивался лунный свет. Отошел еще день...

— На прогулку! — зычно крикнул дядька Буркин.

— Врача! У нас больная!

Клавдия стояла у железной койки, на которой лежала, нагнув грязноватое суконное одеяло под самый подбородок, Кетова. Ее черные тоскующие глаза лихорадочно блестели, на впалых щеках полыхал румянец.

В тюрьме свирепствовал тиф, и Клавдия боялась за Кетову.

— Ксения! Клавдичка! Идите на прогулку! Ведь всего-то пятнадцать минут! А я пока засну. — Кетова постаралась улыбнуться. — Ну, идите, идите, не беспокойтесь обо мне.

— Идите, — посоветовал Буркин. — Врача все равно долго не дождетесь. Почти все уголовные свалились.

Надзирателя Буркина заключенные уважали: не зол и не придира. В его дежурство перестукивались почти без помехи, а иной раз и записку просили передать в город, и Буркин не отказывал.

— Прошу вас — идите, — прошептала Кетова.

Низкие облака висели над тюремным двориком. Сыпал частый дождичек. Цветочная клумба — предмет гордости и забот тюремной администрации — в этот серенький осенний день показалась Клавдии совсем жалкой: палки георгин, рахитичные ноготки, побуревшая трава. А ты ходи да ходи вокруг этой дурацкой клумбы как заведенный.

У канцелярии околачивался помощник начальника тюрьмы Ямов. Обрюзгший коротышка, он хмуро следил, как прогуливаются заключенные. На вышке торчал солдат с винтовкой. Все было обычным, но сегодня именно эта тупая обыденщина вдруг разозлила Клавдию. Она переглянулась с Ксенией. Егорова все поняла, и они разом повернули назад, изменив «маршрут» прогулки.

У Ямова брови удивленно шевельнулись. Он помедлил, решив, должно быть, что каторжанки ошиблись. Потом крикнул:

— Ходить по кругу! По кругу!

— «Помойная яма»-то разорется, — толкнув Ксению локтем, громко сказала Клавдия. — Нашел лошадей, чтоб гонять по кругу...

Ямова точно толкнули. Он мигом очутился посреди дворика.

— Почему нарушаете порядок?  
— Какой такой порядок? — усмехнулась Клавдия.  
— Прогулка только по кругу! — Левая щека у Ямова задергалась.

— А у нас кружится голова. Понятно? — вызывающе ответила Кирсанова и, взяв под руку Егорову, как ни в чем не бывало продолжала беседовать с нею, словно и не замечая помощника начальника тюрьмы.

— В карцер! Прекратить прогулку!

В карцере стояла вонь и сырость. Около параши шмыгала крыса.

— Как же быть с Кетовой? Она без помощи не может! Нужно что-то придумать. — Клавдия вынула из кармана бушлата кусок хлеба.

— Теперь в лучшем случае на семь дней, — огорченно отозвалась Ксения. — А хорошо, что мы проучили этого рыжего...

— Ты не пугайся... Я сейчас истерику закачу... Выпустят, как миленькие...

Клавдия легла на скамью, распустила косы и завывала:

— Мама! Ма-ма! Ма-ма!

В голосе ее было столько страдания, что Ксения содрогнулась. Крик всколыхнул тюремную тишину.

— Ма-ма! Ма-ма! Ма-ма! — неслось по гулким полутемным коридорам.

Тоска, боль, отчаяние перекатывались под тюремными сводами. Ксения зажала уши руками и со страхом смотрела на подругу. Клавдия полузакрыла глаза. Линии рта исказились горькой гримасой, косы лежали на полу.

— Ма-ма! Ма-ма! Ма-ма!

— Кирсанова! Прекрати! — закричал в форточку надзиратель. — Всю тюрьму взбаламутила...

И тюрьма начала оживать. Загромыхали кулаки о железные двери, забегали надзиратели по коридорам.

Дверь карцера распахнулась, и на пороге выросла фигура начальника тюрьмы. Клавдия не шевельнулась. Рядом с начальником стоял сутуловатый фельдшер тюремной больницы. Начальник пропустил его вперед:

— Осмотрите!

Фельдшер, дыхнув махоркой, сосчитал у Клавдии пульс, потрепал рукой по щекам, посмотрел глаза, оттянув нижнее веко. Фельдшер слыл добряком.

— Сильное нервное потрясение, господин начальник... По-

трясение, которое может дать тяжкие последствия. В карцере оставлять больную крайне рискованно!

— Начальство и порядок нужно уважать, госпожа Кирсанова... Но раз больны, освобождаю вас от наказания, строго предупредив...— Начальник приложил руку к козырьку фуражки, вышел...

Через час Клавдия снова хлопотала в камере около больной Кетовой. Ксению выпустили к вечеру.

Подобного случая тюрьма не знала.

## Подкоп

Не успела Клавдия смириться с казнью Мерзлякова, как обрушилось несчастье на Володю Урасова. После долгого следствия состоялся процесс над так называемой боевой террористической группой, по которому привлекался Урасов. Защищал его лучший пермский адвокат Попов.

— Боевой террористической группы нет! — говорил адвокат. — Она придумана охранкой, чтобы расправиться с неугодными людьми. Не секрет для господина прокурора, что подсудимые едва знакомы между собой! Так о какой же организованной группе идет речь? Господин прокурор ссылается на агентурные сведения, представленные ему отделением. Но подобные сведения не являются юридическими аргументами. Тут много говорят об оружии, которое было изъято при аресте у моего подзащитного. Что ж?! Кто из рабочих не запасался оружием? Суду известно, что Урасов — охотник, и оружие ему необходимо. Урасова нужно судить?! Судите за хранение оружия без надлежащего разрешения от властей и, пожалуйста, не создавайте мифических террористических групп. Агентурные сведения в открытом судебном разбирательстве значения не имеют. Пылкое воображение охранного отделения мне лично давно известно!

Попова наградили шумными аплодисментами, а Урасова приговорили к полутора годам тюремного заключения.

После суда Володю перевели в камеру номер пять для «несовершеннолетних преступников». Клавдия в тот же день, упростила уголовного, послала Володе записку: поздравила с тем, что счастливо избежал каторги.

И вдруг Урасов получил дополнительно пять лет административной ссылки в Якутскую область.

Адвокат потребовал свидания с Урасовым и долго говорил

ему о незаконных действиях Особого совещания, предложил подписать жалобу.

Ответ пришел раздраженный:

Тюремное заключение Урасов получил по существующим законам Российской империи. Поскольку же Урасов является нежелательным и вредным элементом для общества, то в целях общественной безопасности ограждается от общества административной ссылкой...

В камере было шестнадцать несовершеннолетних. Жили дружно. Даже уголовные вели себя прилично. В числе политических в камере оказались те «лесные братья», которым смертную казнь по несовершеннолетию заменили тюрьмой. Володя сдружился с Селивановским.

Вася Селивановский, огромный, в плечах косая сажень, простодушный, в самом деле напоминал лесного великана. Приговорили его к двенадцати годам. Часами рассказывал он Володе про Лбова и особенно Ваню Питерского.

— Смелый он был какой! Уж кажется, мало чем можно было удивить Лбова, а Ваня удивлял! А скромный какой! Ведь все в отряде знали, что он босой в мороз гнался за полицейскими, когда они в Питере попытались сделать налет на патронную мастерскую. Знали, а заставить рассказать не могли. Сидим, помнится, в землянке, в своей чашобе. Ветер воет, мороз трещит, у огня — Сибиряк, Ваня Питерский, Демон... Ну, брат, люди! — И голубые глаза Селивановского становились печальными и мечтательными.

Володя понимал, что и здесь, в камере Пермской тюрьмы, Вася живет воспоминаниями.

Селивановский говорил о Ване Питерском с восхищением и горящими глазами.

— Многому научились лесные братья от питерцев. Смелые они, дерзкие. Охранку люто ненавидели, на самые рискованные дела шли. Меня Ваня учил стрелять. Рука у него была будто железная. Обхватит маузер, как клещами, и выстрелит в подброшенную копейку... Горевал я, когда узнал о смерти Вани. — Голос Селивановского задрожал. — На засаду нарвался. Хоронили мы его на старом кладбище. Александр Михалыч Лбов плакал — крепко любил он Ваню. Погиб Ваня, а никто в отряде даже его имени не узнал. Помнишь, процесс «Двадцати двух», когда Сибиряка с боевиками судили. Тогда питерцы не захотели открыть своих имен. Конечно, они личной славы не искали. Будет революция, и народ вспомнит Лбова, Сибиряка, Ваню Питерского...

Селивановский затихал, а перед глазами Володи вставал немногословный Ваня Питерский, темно-русый, голубоглазый.

— Понимаешь, друг. Не могу я сидеть двенадцать лет. Люди за революцию погибают. А я? Бежать нужно! — жарко шептал Селивановский.

— Бежать так бежать! — согласился Володя.

Они лежали в камере на нарах, тесно прижавшись и дрожа от холода. Соломенные тощие тюфяки, набитые трухой, мало грели. Под потолком коптила керосиновая лампа. Слышался громкий храп и горячечный бред тифозного больного.

— Нет, тебе рисковать нельзя, — продолжал Вася. — Срок небольшой, дождешься, а вот нам, лбовцам... Только как бежать? Каждую ночь думаю, а надумать ничего не могу!

— А если подкоп? — Володя вплотную придвинулся к другу. — Понимаешь, неподалеку от корпуса — колодец. К нему ведет туннель. Дорою до туннеля — и сразу на Екатерининскую! Тут всего-то аршин пятнадцать...

У Васи от радости даже дыхание перехватило.

— Здорово. А ведь уйдем? Правда, уйдем? Ребята все свои — бояться некого. Уйдем!

— Тут уголовные... Попробуй влезь в душу.

— Да-а, уголовные... Возьми-ка их, Володя, на себя. А? После того случая, когда ты за них заступился... Ну, помнишь, когда их бить стали, ты с Ямовым сцепился, — они тебя зауважали...

Володя подумал и сказал:

— Не должны оказаться сволочами. Факт — не должны! Поговорю с Сашкой Веревкиным. Он на спевки в церковь ходит. Может, и огарки от свечей принесет!

— Зачем?

— А как же в темноте-то рыть?

Подготовка к побегу началась с того, что лбовцы разломали несколько чайников — сделали лопаты, отточили о камень. Из дров смастерили салазки, связав их веревками. Уголовный, сутулый и рябой, приносил из церкви огарки свечей, запрятав в рукав арестантского халата. Уголовные обещали помочь, некоторые матрацы свои отдали — землю из подкопа в них прятать. Володя в подкопе не участвовал: лбовцы решили, что Урасову, с его небольшим сроком заключения, рисковать не стоит.

Прошло всего две недели, как начали подкоп, а туннель уже заметно удлинился. Работали по очереди. Теперь уже того, кто был под землей, товарищи не видели. К ноге его при-



вязывали веревку, он вползал в туннель, тянул за собой салазки. Другой держал в руке конец веревки и ждал сигнала. Вот дрогнула веревка — стало быть, тяни поскорее, вытаскивай салазки, нагруженные землей, а после, не мешкая ни минуты, набивай ее в матрацы, соломой же из матрацев суй в железную печь.

В туннеле сменялись частенько. Работали трудно, обливаясь потом от нестерпимой жары, задыхаясь от спертого воздуха. Земля, всхлипывая, тревожно передавала все шорохи. Гулко били сапоги часового, когда докопали до тюремной стены; каждый шаг часового отдавался в голове толчками крови.

Вася вылезал из туннеля последним. Пот лил с него градом. Он тяжело дышал и сплевывал густую вязкую слюну. Работа изнуряла даже его! Вход в туннель каждый раз заваливали чурками, дровами, ставили на это место стол. А пузырек с огарком заталкивали в матрац. Днем вели себя смирно, не допуская никаких пререканий с надзирателями, боялись неожиданного обыска.

До конца подкопа осталось аршина два. Вася в эту ночь вылез из туннеля, закурил сигарку, блаженно улыбнулся и сказал: «Подышал свежим воздухом!» Вскоре все уже спали крепким сном. А перед рассветом камеру разбудили яростные крики Надзиратели сапогами расталкивали спящих.

— Ну, малолетки, попались! — кричал начальник тюрьмы. — Подкопами, сволочи, занимаетесь! Становись!

Заключенные вскочили, заспанные и перепуганные. Володя переглянулся с Васей, потом отыскал глазами уголовного, поймал его взгляд. Предал? Уголовный забился в угол поближе к печи, ссутулился и, опустив плечи, молчал.

— Стой! Каждый стой у своего матраца! — зычно гаркнул Ямов.

Надзиратели навели на заключенных револьверы.

Ямов, подергивая рыжий ус, подходил к матрацу, вспарывал его ножом и запускать руку.

— Земля! — хрипло крикнул он Урасову. — Становись к стенке!

Матрац Селивановского проверять не стал, а сразу зло и хлестко ударил его по лицу. Вася содрогнулся всем телом, но сдержался. Лишь глаза его бешено сверкнули.

«Уголовный святоша — провокатор!» Урасов готов был его растерзать.

— Бомбисты, вперед! Саперы, сзади! — издевался Ямов, почесывая мясистый нос.

Ямов остановился посередине камеры, насмешливо взглянул на Селивановского и ногой опрокинул стол. Раскидал землю, поднял доски и навел фонарь на темный лаз.

— Сволочь! — затрясся он и, подбежав к Селивановскому, вновь ударил его рукояткой револьвера.

Селивановский, как разъяренный медведь, шагнул вперед, но его обхватил сзади Урасов. Вася покачнулся, затряс головой и сплюнул кровью.

— Избиения не простим! Передадим на волю! — гневно крикнул Володя.

— Прекратить разговоры! Всех в кузню... Заковать в кандалы и в карцер! — приказал Ямов.

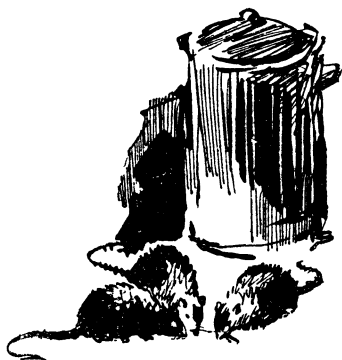
...Хмурым утром Володю Урасова вели в карцер. Тюрьма уже знала о неудавшемся побеге. Володя шел с заплывшим лицом и черным синяком под глазом, с трудом переставляя ноги, закованные в кандалы.

Он встретил Клавдию в тюремном коридоре. Она вскрикнула, он протянул к ней руки, брякнув цепями, улыбнулся.

— Ничего, Володя, держись! — И Клавдия шагнула к Урасову.

Надзиратели оттолкнули ее, Володю увели.

Лишь протяжный звон кандалов еще долго слышался в коридоре.







## НА ЭТАПЕ

### М а т ь

**В**есна 1913 года обещала быть ранней и дружной. По утрам еще прихватывали легкие заморозки, но дни выдались красные.

Клавдия стояла у решетчатого оконца. Звонкая весенняя капель била по железному навесу. Наступил последний день ее каторги в Пермской тюрьме. Клавдия ждала отправки этапом в Якутскую область на вечное поселение... Вечное поселение, к которому она приговаривалась второй раз.

Первый ушел этапом Володя Урасов. Уходил он ранним утром, и только дядька Буркин, передав записку отцу, помог по-людски ему собраться.

Потом уходила Ксения. Родных у нее в городе не было. Клавдия, упросив того же дядьку Буркина купить материю, сшила ей полотняное платье.

А сегодня ждала отправки она. Нехитрые пожитки были сложены в холщовый мешок и отобраны на проверку в тюремную контору. Только заветный кусок мыла она спрятала за пазуху. По прошлому разу знала — отберут. Непременно отбе-

рут! Новички всегда страдали в этапе без мыла. Пылища, духота, грязь... А мыло отбирали — боялись, что кандалники им воспользуются и снимут цепи. Кандалников в партии наверняка много будет. Почти вся партия. Уголовные, политические шли в кандалах. В редких случаях политических заковывали попарно в наручники. Только женщины шли свободно. Клавдия тихонько рассмеялась:

«Свободно»! — под охраной роты солдат... «Свободно»! — в вагонах с решетчатыми окнами и отделениями для конвоя... «Свободно»! — под присмотром палочной команды среди глухих сибирских деревень...

Загребел засов, и Клавдия, натянув выношенный бушлат на полосатое каторжное платье, вышла за надзирателем на тюремный двор.

Пахнуло свежестью. Рассвет был хмурый. По серому небу расплзались палево-малиновые разводы. Тяжелые тени падали на тюремный двор.

Солдаты стояли цепью. Белели начищенные пуговицы на черных шинелях да околыши фуражек. Слышалась команда, щелкали затворы винтовок. Конвойный офицер, длинный и тощий, с озабоченным и сердитым лицом, еще раз пересчитал партию по списку и начал выстраивать каторжан по пяти в ряд. Клавдия стояла в седьмом ряду третьей с края.

Рассвет уже наступил, по-весеннему скорый и солнечный, а партия все еще толпилась на тесном дворе. Суетился начальник тюрьмы, раздраженный, злой. Кричали конвойные, в третий раз делая переключку. Толкались надзиратели, проверяя прочность кандалов. Слышались соленые словечки уголовных, продрогших и уставших от ожидания.

Наконец массивные железные ворота распахнулись, и, окруженная плотным кольцом солдат, партия двинулась по сонному городу к вокзалу. Сразу же от Анастасьевского садика бросились люди с узелками в руках. Клавдия жадно разглядывала бежавших людей. Вчера она послала с надзирателем Буркиным матери записку и очень волновалась, что какие-то непредвиденные обстоятельства помешают ее получить. «Хоть бы разок повидать мать! Вот так, издали».

Только сейчас она поняла, как волновалась все это время. Прошло четыре года с того дня, когда в городском суде Клавдию приговорили к каторге. Четыре года, как она не виделась с матерью! Запомнила ее глубокие морщины у глаз, окаменевший от горя рот. Мать смотрела на дочь черными тоскующими глазами. Крупные слезы текли по дряблым щекам. А по-

том она попыталась улыбнуться, и это было еще страшнее. Улыбка получилась страдальческая. И долго еще при мысли об этой улыбке у Клавдии горестно сжималось сердце. Им попрощаться не дали; судили ее тогда по делу военной организации. Конвоиры скрестили штыки, когда мать попыталась обнять дочь. Клавдия чуть ли не с кулаками бросилась на рябого солдата, препровождающего ее в губернскую тюрьму.

— Я за тебя на каторгу иду, а ты мою мать прикладом! — И, не утерпев, сказала с сердцем: — Дубина стоеросовая!

Мать плакала навзрыд, крестила ее издали сухими маленькими пальцами. Клавдия низко поклонилась, стараясь запомнить ее на долгие годы. Так они расстались в тот памятный горький день.

Партия уже поднималась по Вознесенской улице. Блестели от дождя крыши деревянных домов. Дул пронизывающий ветер. Стояла вязкая глубокая грязь.

Клавдия не находила матери среди небольшой горстки провожающих, непонятно, какими правдами и неправдами узнавших о дне выхода партии.

И вдруг из глухого проулка устремилась сгорбленная маленькая фигурка. «Мать! — сразу узнала Клавдия. — Наконец-то! Мать!» Клавдия замедлила шаг, и тут же на нее налетел каторжанин, больно отдавив ногу.

— Шагай! Шагай! — гортанно прокричал черноусый солдат и выразительно прищелкнул затвором.

Путаясь в широкой юбке и вытирая слезившиеся глаза, мать, словно не видя солдат, шла к Клавдии. Она вытянула руки и, сразу обессилев от волнения, начала спотыкаться и шататься. Клавдия замахала ей, ужасаясь, как постарела и высохла мать за эти годы. Закусив губу, Клавдия с трудом различала дорогу. Всеми силами она старалась сдержать слезы, а слезы застилали глаза. Она боялась их вытереть, чтобы не расстраивать мать. Только махала, махала ей рукой.

Мать схватилась за сердце и уронила на вытопанную мостовую белый узелок. Она с трудом поспевала за партией, и расстояние между ними все увеличивалось.

— Держись, Яковлевна, держись! — прокричали откуда-то сбоку.

Клавдия повернула голову и увидела, как подхватил ее мать Александр Иванович, отец Володи Урасова. Поднял с земли узелок. Сдвинув на лоб треух и расстегнув полушубок, он быстро догнал партию:

— Кирсановой! Клаше!

Узелок поймали, и вскоре вместе с увесистым ударом от каторжанина он оказался у Клавдии в руках. Она прижала его к груди, и на нее пахнуло теплым ржаным духом. Клавдия прижала узелок покрепче.

Звенели кандалы, кричали простоволосые женщины, поблескивали штыки. А Клавдия все оглядывалась и оглядывалась на горбившуюся мать.

На вокзале партию ждали. На перроне находился усиленный наряд жандармов, цепью отделивший каторжан от публики.

Синели арестантские вагоны с густыми железными переплетами на окнах. Вперед вышел все тот же конвойный офицер, длинный и тощий, и начал резким неприятным голосом делать перекличку. Клавдия плохо следила за происходящим.

Мать стояла около кадки, выкрашенной зеленой краской, и, не отрываясь, смотрела на нее. Она уже не плакала. Глаза ее с болью и нежностью разглядывали дочь. Действительно, легко ли среди каторжан с бубновыми тузами увидеть свою дочь! Вновь в Сибирь! Навечно! Все время тюрьмы да аресты, каторга да этапы. И матери хотелось громко закричать, чтобы вернули ее дочь. Она уже старая, и у нее так мало осталось сил. Мать даже рассердилась на дочь. Почему, почему она не может жить, как все?! Мать бы нянчила внуков, и дочь была бы всегда рядом. Но, поймав жесткий и твердый взгляд, который Клавдия бросила на жандармского ротмистра, она сразу сникла — нет, никогда ее дочь не смирится. Никогда!

Клавдия опять взглянула на мать и улыбнулась. И мать закивала седой головой, заволновалась. Побледнела ее Клавдичка, побледнела, сердечная. И так подумать — ведь не за себя страдает! Осунулась, и в карих глазах нет бывшего молодого задора. Лишь тоска и боль! Сердцем мать поняла, как изменилась дочь за годы каторги. И небывалая нежность захлестнула ее сердце. Нежность и всепрощающая материнская любовь. Она подивилась, как могла упрекать свою Клавдичку или осуждать ее?! Ужаснулась своей жестокости и, глотая слезы, закричала:

— Клавдичка, доченька моя! Береги себя, ласточка! Ласточка моя!

Мать растолкала толпу и придвинулась вплотную к цепи жандармов.

Никогда она так не любила свою Клавдичку, никогда не испытывала такой муки, как в эти последние минуты прощания. Она во всем оправдывала дочь. Ругала себя за старость

и неумение понять того дела, которому Клавдия отдавала жизнь. Она тянулась к дочери, чтобы прижать ее к груди. И опять им помешали. Жандармы стояли сплошной стеной, и, как ни старалась мать, пройти ей не удалось. Она погрозила им сухоньким кулаком. Клавдия засмеялась и придвинулась поближе. И опять смотрела на нее, смотрела, чтобы унести в сердце образ матери на долгие годы разлуки.

...В вагоне оказалась невероятная толчея и духота. Клавдия вместе с женщинами-уголовными заняла боковую клетушку.

Убегал город, и лицо матери расплывалось, как белое пятно. И как только застучали колеса, как только замелькали версты и полустанки, в вагоне запели. Клавдия вздохнула, радуясь, что позади осталась тюрьма, Ямов, опостылевшие стены камеры... Перемена обстановки рождала надежды. Да и конвойные на этапе притихли.

Напротив Клавдии, пристроившись на низенькой плетеной корзине, сидела женщина. Лицо ее, широкоскулое и миловидное, портил грубый рубец, белевший на левой щеке. Она с любопытством разглядывала Клавдию и, наконец, низким голосом спросила:

— Политическая?

Клавдия кивнула. Руки ее ловко укладывали косы в пучок.

— А за что? Такая молодая, красивая... Жить тебе и веселиться, а ты — в политику. Не убивала, не воровала, а каторжанка!

— Бывает...

Клавдия развернула белый узелок, собранный матерью. И опять сердце защемило от боли. Припомнила, как заплакала мать, когда ударил вокзальный колокол, как махала она платком, как пыталась бежать за вагоном.

— Угощайся. Домашние. Мать принесла.

— А меня к столу не пригласите, красавицы? Гостем буду. Гость в доме — хозяйке счастье.

Клавдия подняла глаза. Смуглый цыган с красивым лицом и жгучими глазами остановился против них. Он был закован в ножные и ручные кандалы. Иссиня-черные волосы, курчавая борода, нависшие брови делали его похожим на ворона. В правом ухе сверкала серебряная серьга. Цыган загремел кандалами, протянул грязную руку. Клавдия дала ему пирог с мясом. Цыган блеснул зубами:

— Будем знакомы. Конокрад Яшка.— Он шутовски приподнял плоскую каторжанскую шапочку и жадно начал есть.

— Пошел, пошел на место, басурман проклятый! — накинулся на него унтер из караульной команды. — Вишь, кавалер выискался!

Цыган передернул плечами и, позванивая кандалами, начал наступать на унтера. Плечи его мелко тряслись, ноги дробно отплясывали. Сочным голосом, не отводя глаз от унтера, цыган запел:

У студентки под конторкой  
Пузырек нашли с касторкой,  
И один из них, капрал,  
Полон рот ее набрал.  
Дунул, плюнул, говорит:  
«Эфто, братцы, динамит.  
Динамит не динамит,  
А при случае палит...»

Унтер глядел на него с ожесточением, а Яшка озорно сверкал белками глаз и пел.

Весь вагон вторил Яшке, похохатывая и притопывая.

Эх вы, синие мундиры,  
Обыщите все квартиры...  
Обыскали квартир триста —  
Не нашли социалиста.

Этап начался...

## Александровский централ — пересыльная тюрьма

Из Иркутской губернской тюрьмы до Александровского централа партия шла пешком. Уходили ранним утром, едва загоралась заря. Деревья, окутанные белым ночным туманом, лишь проглядывали сквозь его пелену.

Конвой сменился, и теперь партию возглавлял приземистый чернявый офицер с квадратным равнодушным лицом и зычным голосом. Партия разрослась, и офицер все чаще подгонял арестантов отборной руганью.

Клавдия шла тяжело. Ноги болели от усталости, и она очень обрадовалась, когда кто-то из политических настоял, чтобы женщинам разрешили сложить холщовые мешки на санитарную двуколку.

Клавдия куталась в потертый бушлат. Спасал ее белый шерстяной платок, который мать переслала в тюрьму.

Зорька выдалась холодная. Апрельское небо неприветливо

хмурилось. Перепадал дождь смокрым снегом, и колючий ветер бил в лицо.

Невеселыми были мысли Клавдии. Двадцать семь лет. Жизнь определилась, и иной жизни она выбрать бы не смогла. Не испугали ее ни каторга, ни тюрьмы, ни этапы. Испугала ее человеческая неверность. Да, неверность. На каторге в Перми познакомилась она с Иваном Васильевым. Лицо его хорошо запомнилось — тонкое, продолговатое, с чуть прищуренными светлыми глазами, маленькой бородкой и аккуратно подстриженными усами. Судили его по делу социал-демократической организации. И вскоре в густо сваренной перловой каше уголовные начали ей приносить записочки, написанные четким убористым почерком. Сколько красивых слов о любви он сказал! Какие клятвы! Какие признания!

И Клавдия поверила: очень хотелось, чтобы ее кто-то полюбил, ждал на воле. Она дала слово, и Васильев свершил невозможное.

Как-то в тюремной конторе Клавдии под расписку передали обручальное кольцо. Ямов расправил рыжие усы и пышно поздравил: «Пора, пора семью создавать, гнездышко вить, госпожа Кирсанова! Хватит сидеть по тюрьмам да проходить по судебным процессам!»

Срок у Васильева оказался небольшим. Он вышел из тюрьмы и засыпал Клавдию письмами. Открытки приходили красивые... Тогда, в каземате, целовала каждую строку. Чаше всего на открытках Васильев рисовал акварелью: то кружевную ветку рябины, то пунцовую розу... Каждой открыткой звал ее на волю, каждой открыткой клялся в верности. Он ждет ее. Ждет?! Не то слово. Он пойдет за ней по жизни, пойдет этапом на поселение, пойдет на край света, чтобы никогда не разлучаться...

«Клавдичка! Радость моя! Я здоров и радостно настроен. Не бойся за меня, детусенька. Целую руки твои, любимые, бесконечно дорогие руки. Клавдичка! Как я люблю тебя. Безумно! Твой Ваник!»

Она читала его письма Ксении, и та хмурилась, как это апрельское утро.

«Не нравится он мне, Клавдичка. Не нравится! Не верится. Слишком все красиво.— Ксения поднимала свое худенькое лицо и голубыми глазами горько смотрела на нее.— Может быть, я ошибаюсь».

Последние слова она говорила неуверенно, и лишь потому, что жалела ее. Клавдия это понимала. А она верила. Как-то

Иван написал, что познакомился с ее матерью, Анфисой Яковлевой. Мать приняла его хорошо, поцеловала, как родного. Счастью дочери мать была рада, очень рада. Это письмо решило все колебания Клавдии. Она поверила, как всегда, искренне и глубоко. Написала письмо в Сибирь и попросила своих товарищей приискать работу ей и Васильеву, поскольку он пойдет этапом за невестой в Сибирь. Она — невеста! И товарищи ответили, что ждут их вместе, ждут и помогут...

А за несколько дней до выхода партии, с которой отправляли Клавдию, пришло письмо. Васильев испугался. Он женился, и этапом пойдет она одна.

Клавдия никогда не забудет той ночи. За решетчатым окном завывал ветер. В камере стояла холодная, промозглая тьма. Испуганно пищали крысы. Она лежала на соломенном матраце: предать в любви человека, томящегося в тюрьме! Человека, для которого вся жизнь — ожидание, вера в эту любовь! Это было ее самое горькое разочарование. Она осталась одна, обманутая и покинутая. Стыдно... Стыдно взглянуть в глаза товарищам, которых она беспокоила просьбой. Стыдно, что человек оказался так труслив и малодушен!..

Партия шла тайгой. Между вековыми соснами лежал снег, почерневший от талых вод. Дорогу размывало первыми дождями, и на снегу Клавдия заметила ржавые пятна.

Она сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. Золото потускнело и покрылось от тумана росой, словно слезами. Повертела кольцо и вновь надела. Сил не хватило выбросить его. Клавдия горько усмехнулась и поплотнее укуталась в шерстяной платок.

Ржавчина!.. Почерневший снег!

День разгорался. Золотились прошлогодние шишки на голых лиственницах, синела хвоя на соснах, набухли почки у берез. Тайга обступила Сибирский тракт с обеих сторон. На ноздреватом снегу торчали полусгнившие пни, отчаянно кричали вороны. От весенних проталинок поднимался густой пар. Зеленоватой щетинкой пробивалась молодая травка. Весна!

Клавдия глядела на весенне-яркое утро и думала: придет ли когда-нибудь и ее весна? А в кустах красноватой вербы, обсыпанной белым пухом, заливалась пичуга. Задорно. Привольно. Она вздохнула полной грудью. От морозного воздуха закружилась голова. Отяжелевшие глаза ее слипались, грубые коты стали тяжелыми, многопудовыми.

— Подтянись! Подтяни-и-и-ись! — кричали солдаты, подгоняя партию.



Тайга окуталась туманом, поднялся ветерок. Солнце то появлялось, то пряталось в рыхлых розоватых облаках. Дорога ползла по ухабам, петляла среди сопок и терялась в синеватой мгле. Уныло звенели кандалы, и ветерок, постанывая, метался по тракту, поднимая облачко старого листа. Мрачной громадой надвигался на Клавдию Александровский централ.

На пересыльном дворе Александровского централа партию задержали. Полили холодные весенние дожди. Солнце почти не появлялось, и небо утопало в мутноватых плотных облаках. Крупными каплями барабанил дождь по грязному оконцу.

По влажным стенам камеры ползали клопы. Арестанты спали вповалку на цементном полу. Камера, душная и смрадная, была переполнена. Клавдия с трудом пристроилась у стены рядом с той миловидной женщиной, с которой познакомилась в Перми, в арестантском вагоне. Справа соседкой ее была угрюмая, молчаливая каторжанка с маленькой девочкой. Спать ложились рано — сразу же после проверки. Клавдия с нетерпением ждала отправки в Якутск. Она сажала к себе на колени маленькую девочку, дочь каторжанки, которая выросла в тюрьме. На сером лице чернели глаза, в которых глубоко был запрятан страх. Клавдия частенько переплетала ее тоненькие соломенные косички и рассказывала веселую сказочку. Только девочка почти не улыбалась. Она прижималась к Клавдии своим маленьким худеньким тельцем и пугливо вздрагивала каждый раз, когда распахивалась дверь в камеру.

С ожесточением забарабанил дождь по желобу водосточной трубы. В камере сделалось темно. Голоса смолкли, и все начали слушать, как бушует за окном непогода. И вдруг откуда-то полилась песня:

Ревела буря, дождь шумел;  
Во мраке молнии блистали,  
И беспрерывно гром гремел,  
И ветры в дебрях бушевали.

Мужской голос редкостной красоты рассказывал об отважном Ермаке, о страшной его гибели. В песню вплелись голоса, и вот уже мощный мужской хор слаженно вторил певцу.

Клавдия вся отдалась песне. Только в тюрьме умели люди так душевно и красиво петь.

— А знаешь, Клавдичка,—придвинулась к ней Любаша,—тут, в Александровском центре, живет предание о какой-то певице, к которой приезжал брат, большой артист.

С Любашей они познакомились в этапе. Девушка пришла из Нерчинска и ждала отправки в Якутскую область. Маленькая, светловолосая, с гордым и красивым лицом, она чем-то напоминала Ксению, и Клавдия потянулась к ней.

— Как-то этапом проходила здесь Мария Эссен, большевичка. Ее тоже на Якутск гнали. Красавица. Русоголовая, голубоглазая, изящная. Ей даже в охранке дали кличку «Шикарная». Много горя узнала Эссен в этапе. В Красноярской тюрьме ее чуть крысы не съели. Поместили Марию в камеру, раньше там склад находился. Ночью крысы и пошли на арестантку войной. Камера едва освещена лампой, затянутой в паутину. Крысы осмелели. Вещи изгрызли. Подняли драку и начали жуткими клубками перекатываться по полу. Эссен ухватилась руками за решетку на окне и провисела всю ночь. Кричала она, да надзиратель ничего особенного в этом не увидел. Решетка обжигала холодом. Только Мария боялась ее из рук выпустить — заедят крысы... Страшно, до чего изобретательны тюремщики! А потом Марию Эссен пригнали в Александровский централ. Как-то зашел к ней начальник и рассказал, что киевская оперная труппа приезжает на гастроли в Иркутск. А премьером в этой труппе был родной брат Эссен. Она упросила начальника предоставить ей свидание. И брат появился в камере. Не сразу узнал он сестру в арестантском полосатом платье. Не видались они долго. Мария-то все по тюрьмам... Да, кстати, она и в Екатеринбурге работала, подпольную типографию ставила. Может, слышала?

— Слышала. Когда она приехала в город, то на вокзале жандарм помогал ей чемодан нести. А в чемодане лежал пуд шрифта! Смелая она! — Клавдия накрыла заснувшую девочку бушлатом.

— Хорошо! Так вот. Увиделись брат с сестрой в Александровском центре, обрадовались. Ну, Машенька попросила брата спеть. День выдался хмурый и ненастный, как сегодня. На вытоптанном дворе гремели кандалами арестанты, перекликались стражники на вышках. Брат с удивлением оглядывал камеру, стены давили его, и он отказался петь. Трудно человеку, да еще актеру, привыкнуть к тюрьме. Только Машенька настояла. Очень она соскучилась по настоящей музыке. И брат запел «Сомнение» Глинки. Как это? Да...

Уймись, волнения страсти!  
Засни, безнадежное сердце!  
Я плачу, я страдаю,—  
Душа истомилась в разлуке.

— «Не выплакать горя в слезах!» — повторила Клавдия, слушая Любашу. Она задумчиво рассматривала затянутое паутиной оконце и вновь повторяла: — «Не выплакать горя в слезах!»

— И тут небывалая тишина установилась в центре. Кандалники замерли, стража и та перестала перекликаться. Распахнулись окна в камерах, и потянулись люди к одному-единственному, из которого разливалась песня. Подивились каторжане могучему голосу. Актер кончил петь, и сразу зазвенели кандалы. Хриплые голоса закричали: «Браво! Браво! Просим еще!» Певец растерялся. Ни Машенька, ни ее брат не предполагали, что их слушают. Певец бросился к окну, хотел взглянуть на своих почитателей, да до окна невозможно дотянуться. Он был взволнован, поцеловал сестре руку и по привычке поклонился, словно его могли сквозь метровые стены увидеть.

«Знаешь, Машенька, нигде меня так не принимали... Трогательно, очень трогательно. Здесь люди отверженные, и мне хочется им петь».

«Почему отверженные?»

«Не будем спорить, Машенька, в такой день. Я никогда не разделял твоих политических взглядов... Ну, прости, прости меня. Я буду петь...»

Актер стал напротив окна и во весь голос запел: «Чуют правду...» Знаешь, эту чудесную арию из «Ивана Сусанина»! И опять громом восторженных рукоплесканий ответил Александровский централ. В каждом окне на решетках повисли арестанты, а солдатам не до них. Такова сила таланта! А когда брат запел песни каторги и ссылки, то ему начала подпевать Машенька. Невозможно передать, какой восторг охватил централ. Пели они Ермака. И столь красивы были их голоса, что арестанты сперва слушали как зачарованные, а потом тоже запели. Пели кандалники во дворе, пели кандалники в камерах, пели кандалники в одиночных казематах...казалось, кто-то невидимый и сильный управлял этим могучим хором, кто-то добрый и щедрый в тюрьму принес радость! Спел певец и «Бродягу». Спел и заплакал, когда услышал, как централ речитативом ответил ему:

Отец твой давно уж в могиле  
Землю сырую зарыт,  
А брат твой давно во Сибири,  
Давно кандалами гремит.

Любаша молчала. Молчала и Клавдия, слушая непогоду за окном и далекую песнь каторжанина.

В яркий апрельский день партия сделала тридцать верст. Клавдия с трудом несла на руках свою маленькую приятельницу по Александровскому централу, окончательно выбившуюся из сил. Девочка доверчиво положила ей на плечо русую головку с соломенными косичками и жалобно всхлипывала.

Солнце стояло высоко, а в дремучем ельнике, среди которого лентой вилась дорога, еще держался неприветливый сумрак.

Село с этапным двором показалось сразу, как только партия из низины поднялась на холм. Белела невысокая каменная церквушка на площади, окруженная жиденькими березками. Вдоль широкой улицы, единственной в селе, темнели просторные дома с резными наличниками.

Этапный двор был за околицей. За частоколом прижались приземистые бараки, почерневшие от времени. Крыши их покрывал мох.

К партии повалил народ: ребятишки в заломленных картузах, бабы в пестрых полушалках, мужики в оленьих шапках. Староста партии, высокий седобородый старик, пошел в местную лавчонку закупать продукты на кормовые деньги.

Арестанты, устав от долгого пути, расположились на отдых. Клавдия тяжело опустилась на жесткую прошлогоднюю траву, пожухлую, едва приметную. Она с удовольствием сняла разбитые коты, развязала шерстяной платок. Девочка с соломенными косичками проснулась и нахохлилась.

— Есть, есть хочца, тетенька,— запросила она, протирая худенькими кулачками заспанные глаза.

— Обожди, милая. Теперь уже скоро.— Клавдия гладила рукой ее волосы.

Ей и самой отчаянно хотелось есть. Кормили в пути от-вратно. Да и какой может быть харч на гривенник, отпущенный казною? Темные круги лежали под ее глазами.

Клавдия подозвала ободранного деревенского мальчонку с деревянным ведерком и с удовольствием умылась родниковой водой. Неторопливо растерла лицо полотенцем с вышитой каймой. Выпила холодной воды из кружки. Пила жадно. Так же тщательно она умыла и девочку. Переобула, почистила пальтишко.

У частокола на лужайке собрались крестьяне. Дымили крепкой махоркой. Самокрутка пошла по кругу. Уголовные делали крепкие затяжки, кашляя и жмурясь от удовольствия.

В центре толпы стоял высокий, смуглый Яшка-конокрад. Он рассказывал что-то веселое, поблескивая огненными глазами, задорно потряхивая серебряной серьгой. Прыскали в кулак девки, похохатывали баском мужики, а Яшка с невозмутимым лицом бил себя в грудь огромным кулачищем. Затем он густо намылил руки и умело снял цепи. Толпа загоготала.

— А ну разойдись, православные... — Развел свободными руками Яшка. Он презрительно скосил глаза на цепи, лежавшие в грязи.

Толпа расступилась, Яшка вышел на середину круга. Угловыые вытащили из-за пазухи деревянные ложки, ударили дробно, а Яшка присел и тотчас пружинисто распрямился.

Ах, гуляла Машенька по садочку,  
Брала, брала ягодку-земляничку.

И пошел, пошел плясать. Ах, как плясал он, этот Яшка! Но вот он остановился на миг, замер и вдруг гортанно вскрикнул, завертелся волчком:

Тараканы мои, тараканы,  
Саваргалы мои, саваргалы.

Такого танцора Клавдия никогда не видела. Сколько грации и красоты было в его движениях, сколько силы и удали!

Клавдия не заметила, как начала прихлопывать в такт, поворачивая это непонятное, смешное:

Тараканы мои, тараканы,  
Саваргалы мои, саваргалы.

Притопывали степенные сибирские мужики, отбивая такт заскорузлыми руками. Прихлопывали девки, поводя плечами.

Пляска захватила всех. И забылся долгий изнурительный этап, забылся остроконечный частокол, за стенами которого ждали партию, забылся бубновый туз на спине. Яшка-конокрад танцевал!

Опускался холодный весенний вечер. Арестанты зажгли костер, и красноватый свет играл на смуглом лице цыгана. В его глазах, живых и бойких, Клавдия заметила нечто высокомерное и язвительное. И она поняла, что в эти минуты он глубоко презирал глупый людской порядок, который позволил его, вольного и свободного, как птица, заковать в кандалы...

Ложечники, засунув ложки за пазуху, быстро пошли по кругу собирать подаяния. Сибиряки не скупились. Летели в арестантские бескозырки копейки и пятаки. К костру тащили молоко в деревянных ведерках, караван хлеба, жареные куски мяса, хрустящие шанежки. Яшка равнодушно смотрел на приношения, подозвал к себе уголовного, плешивого сгорбленного старика. В жиденькой рыжеватой бородке его пробивалась седина. Уголовный смотрел на Яшку почтительно и восхищенно.

— Все по-честному раздели. Смотри, баб да детишек не обойди! Жрите, черти, досыта. Угощаю!

Послышались одобрительные восклицания, ласковые ругательства. Арестанты довольно зашумели, а Яшка с невозмутимо-равнодушным лицом прилег неподалеку от Клавдии на седую траву. Он положил руки под голову и, не отрываясь, смотрел в вечернее небо, выписанное тусклыми, размытыми красками.

Курился огонек над костром и мешался с беловатым вечерним туманом.

Клавдия с удовольствием ела мясо с чуть жестковатой рочкой. Потом вытерла полотенцем руки и обернулась к Любаше:

— Очень, Любаша, я люблю Горького. Огромный он! А как знает жизнь... На Яшку-конокрада смотрела и вспомнила Челкаша. У Горького есть рассказ «Тик-так, тик-так!». Постой, как это он там говорит: «Жизнь человека до смешного кратка. Как жить? Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное».

Любаша положила руку под щеку и молча на нее смотрела.

Лицо девушки было задумчиво и строго. Лишь в глазах дрожал отблеск костра. Она казалась побледневшей. Клавдия откинула прядь волос и вновь заговорила:

— Прав, бесконечно прав Горький! «Не жалейте себя — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!»

— Мало только людей, которые так живут, Клавдичка.

— Ничего. С каждым днем будет больше. Даже Яшка-конокрад плясал для мира, плясал, чтобы арестантов накормить... — Клавдия тихонько засмеялась, вскинув брови. — Я иду этапом второй раз. Первый раз шла в девятьсот восьмом. Многое изменилось.

Становилось темно, зажигались первые звезды

Девушки замолчали. Конвойный офицер вышел из дома священника и заторопился к партии, еще не вошедшей в этапный двор.

— Заходи-и-и-и! — прокричал офицер, придерживая рукой длинную шашку.

Тоненькой струйкой потянул сизый дымок, пахнуло подгоревшей кашей: кашевары готовили вязкий кулеш.

Клавдия вместе с партией зашла во двор. Проскрипели петли ворот, и послышался режущий звук — солдаты задвигали на ночь засов. Вдоль частокола, к которому прижалась береза с почерневшими сережками, заходили часовые.

— Слуша-а-ай! — доносилось из темноты.

Небольшой этапный двор звенел кандалами. Клавдия, взглянув в барак и бросив холщовый мешок на нары, вновь вышла во двор. Уголовные, рассевшись кучками, хлебали кулеш. Наевшись, играли в три листика.

Яшка тихо напевал. Костер освещал его смуглое лицо. Клавдия села рядом.

Яшка, обхватив колени руками, задумчиво пел, словно жалуюсь на жизнь.

Ах ты, ноченька,  
Ночь осенняя...  
Что же ты, моя ноченька,  
Принахмурилась...

Клавдия задумалась — ей было грустно.

## Эдельвейс

Весна докатилась до Верхолenska. В мае 1913 года в этот небольшой городок прибыла партия арестантов.

На реке еще белел битый лед. Холодный ветер вздымал волны. Качался паузок с арестантами. Последними сели солдаты конвойной команды. Офицер сделал перекличку, и паузок поплыл вниз по Лене.

Ветер властно толкал паузок вперед, грузный и неуклюжий. Яшка-конокрад, вооружившись длинным шестом, оттачивал льдины. День разгорался. Река играла.

«Сплав» по Лене продлится не менее месяца. Клавдия это знала. Предстояли долгие муторные дни.

Тайга подступала к берегам, обрывистым и скалистым. На склонах Клавдия различала причудливые фигуры, выточенные ветрами. Красивы, очень красивы казались эти творения природы. Покорила ее фигура женщины из камня. Ветер колыхал лапы елей.

— Любаша, посмотри, какая красота! Чудо как хороша эта русалка.— Клавдия повернула раскрасневшееся на ветру лицо и показала глазами на берег.

Любаша придвинулась, положила голову на плечо и замерла. На паузке становилось тихо. Арестанты уложили свои нехитрые пожитки и отдыхали, отдаваясь плавному движению реки. Ветер спал, вода тихо плескалась о корму.

Спокойно и неторопливо потекли мысли Клавдии.

— Любаша, хочешь, я расскажу тебе легенду об Ангаре. Ты ведь из этих мест... Может быть, ты ее слыхала?

— Нет, Клавдичка...

— Старый грозный Байкал больше всего на свете любил свою единственную дочь, красавицу Ангару. Была она резва, как молодая лань, чиста, как горный снег, красива, как изумруд. Ангаре исполнилось восемнадцать лет, и перестала она играть со скалистыми берегами да синими волнами. Все чаще уходила Ангара в дикую тайгу, слушала шелест вековых лиственниц и пение птиц. Задумчива стала, безрадостна. Однажды старый Байкал отдыхал после бури. Положил он зеленую поседевшую голову на утес и, поднимая каскад брызг, спросил: «Что не весела, моя красавица? О чем тоскуешь? Может быть, воды я даю мало... Так возьми — вся твоя!» Байкал размахнулся и опрокинул десять лодок баргузинов.

Горькими слезами ответила Ангара. Слезы, как драгоценный жемчуг, падали на грудь отца.

«Тоскливо мне, батюшка. Ты заботлив и добр. Только скучно мне смотреть на скалистые берега да играть с волнами. Белокрылые чайки, что залетели вечор в прибрежную тайгу, рассказали о красавце Енисее. Ты слышал о нем?» Серебром звенел голос Ангары.

Старик насупился, и черные тучи заходили над озером. За шумел ветер, и чайки взметнулись к прибрежным скалам с испуганным криком.

«Полюбился мне красавец Енисей. Такой он могучий и веселый. Высоко поднимаются его волны! Отважно бегут воды его на север! Отпусти меня, батюшка... высохну я здесь от слез...»

«Нет! Нет! — громовым голосом прокричал Байкал. — Я запру тебя, неверная дочь. Ты моя и навсегда останешься здесь».



Горько заплакала красавица Ангара. А Байкал забушевал невиданным штормом. Волны ходили стеной, и горе было тем несчастным, кто оказался в тот день на озере. С дикой яростью бросал старик могучие волны на скалистый утес, куда обычно слетались чайки. С корнем вырывал вековые сосны и швырял их в море. Хотел, чтобы Ангара видела, как страшен он во гневе.

Долго плакала Ангара в каменном дворце, куда заточил ее Байкал. Билась об утесы, заламывала руки. Капля за каплей падали слезы на камень. Много дней и ночей плакала Ангара, слезы размыли гранитные стены. Размыли потому, что были это слезы любви.

Вырвалась Ангара из своей каменной тюрьмы и помчалась на встречу с красавцем Енисеем. Путь оказался не легок: крутые скалы, могучие утесы, горные цепи. Но Ангара не отступила. Она дралась за свою любовь. Каскадом водопадов обрушивалась Ангара на скалы и утесы, прокладывая новое русло. Усталая и счастливая, она упала на богатырскую грудь Енисея. Воды их слились и покатили на север. Только до сих пор не может успокоиться Ангара — все бурлит, рассказывая Енисею...

Клавдия, обведя тайгу смеющимися глазами, раскинула руки:

— Поздно узнал Байкал о бегстве дочери. Рассвирепел, разбушевался. Хотел схватить беглянку и преградить ей путь. Поднял утес, что упирался краем в небо, поиграл им да и бросил в Ангару. Зашумела от боли Ангара, накинута на утес и обошла его стороной. Так и стоит этот утес на Байкале, как память об отцовском гневе, а Ангара счастлива в объятиях Енисея...

Клавдия замолчала и не отрывала глаз от белых волн, сверкавших в солнечных лучах.

— Красивое сердце у тебя, Клавдичка, — задумчиво молвила Любаша.

До Усть-Кута добрались не скоро. Неожиданно ветер переменился, и паузок плыл по течению, беспомощный и неуклюжий, как большое корыто.

В Усть-Куте партию переводили с паузков на арестантские баржи. До Якутска предстоял путь немалый — не менее двух тысяч верст. Необтесанные доски покрывали казармы с двухэтажными нарами. Клавдия бросила на нары вещи. Грязь и духота. «Что же тут будет ночью? Наверняка двери-то запрут!»

Она вышла на палубу и потрогала массивный замок, болтающийся на железном засове. Кандальники, позванивая цепями, поднимались тяжелым шагом по шатким сходням. Солдаты подгоняли арестантов прикладами.

— Клавдичка!

Клавдия обернулась. На пристани оказалась Ксения. Она плакала. Рядом мужчины в шляпах и косоворотках, с узелками в руках. «Колония политических встречает партию!» — догадалась Клавдия.

Она сбежала по сходням и сразу же очутилась в объятиях Ксении. Та гладила ее, приговаривала:

— Увиделись, Клавдичка! Увиделись...

Клавдию тормозили, расспрашивали, совали узелки с провизией. Она стояла оглушенная, смущенная. Наконец товарищи отошли и дали подругам возможность поговорить. Клавдия радовалась встрече и понимала, как не хватало ей Ксении, умной и доброй, все эти месяцы.

— Значит, в Якутск,— повторила Ксения.— В Якутск...

— Ты-то расскажи, что с тобой приключилось. Ты ведь в Верхоленске была, а теперь здесь!

— Целая история, Клавдичка. Приписали сначала к селу Большедворск под Верхоленском. Меня пригласил священник готовить дочку в епархиальное училище. Прислал батрака с узлом. Там и оказался этот роскошный салоп.— Ксения смешливо повернулась, потрогала салоп.— Не захотел видеть меня в позорной одежде. И вдруг после Ленского расстрела стали приходить письма для Трофима. Получаю их, складываю и жду, когда хозяин явится. Только явился не хозяин, а жандармы. Ночью меня разбудил лай собачонки. Сразу поняла — обыск. Вскочила, в парту своей ученицы засунула всю нелегальщину. Начала письма уничтожать, а в дверь ломаются. Рву помельче.

Наконец вошли. Начали обыск. Только писем не нашли, нет. Попадья, толстая, трясущаяся, в дверь заглядывала.

«Собирайтесь, да поживее!» — говорит пристав.

«Что за напасть», — подумала я тогда. Не сообразила, что арест связан с письмами. Решила, открылось старое дело...

Собралась, а все же спросила:

«На каком основании происходит арест?»

«Глядите, госпожа Егорова», — и показал он мне телеграмму за подписью полковника Терещенко.

«Интересно, зачем я понадобилась Терещенко! — сказала я

удивленно.— Может, полковник на Лене новый расстрел хочет учинить?»

Пристав промолчал, только головой неодобрительно покачал. Погнали меня этапом в Иркутск. Семь месяцев продержали в тюрьме — все о Трофиме расспрашивали. О Трофиме я и сама ничего не знала. Слышала, что какой-то боевик скрывается в тайге, вот ему и шли письма. А почему адресатом меня избрали — не пойму. Может быть, знали, что не болтлива? Вот и вся история. Почему одна идешь? Где жених твой?

— Жених испугался этапа. Испугался Сибири. Не дождался меня. Вот и иду одна...

Ксения покраснела и нахмурилась.

— Так и должно быть! Ты не горюй. Это не любовь!

Подруги стояли на пристани, облокотившись на деревянные поручни. На воде дрожали их тени.

Послышался резкий свисток с баржи, и Клавдия, крепко поцеловав Ксению, взбежала по дощатым сходням, держа в руках узелки с провизией.

Медленно ползет арестантская баржа по Лене. Тайга застыла неприступная и молчаливая. И так день за днем.

А однажды, когда баржа проходила мимо утеса, покрытого зеленым мхом, из тайги вышел человек. Высокий, плечистый, ладный. Под мохнатыми бровями блеснули стекла пенсне. Продолговатое лицо его загорело от яркого сибирского солнца. К груди, туго обтянутой ситцевой косовороткой, он прижимал букет голубоватых цветов.

Клавдия не могла оторвать от него глаз. Да и человек заметил ее. Он приветливо, как хорошо знакомой, махнул ей рукой и широко, открыто улыбнулся. И опять удивилась Клавдия, как проста оказалась его улыбка. Ловким движением он бросил букет на баржу. Клавдия поймала букет и протянула Любаше. Голубоватые цветы так подходили к ее глазам! Незнакомец беспокойно замахал руками, и Клавдия поняла, что букет предназначался ей, только ей... Вспыхнув от удовольствия, она благодарно закивала ему. В глубине букета лежал эдельвейс, белый, похожий на звезду.

Эдельвейс в Якутии! Поразила Клавдия и вновь взглянула на удивительного незнакомца. Благородный цветок трепетал длинными белоснежными волосками и казался Клавдии сказочной звездой, заброшенной на сибирскую землю.

Ветер отогнал баржу на середину реки. По воде тянулись



сизо-лиловые разводы. Скрылся вдали крутой утес, а она все прижимала к груди трепетный эдельвейс.

Клавдия сидела на барже, подперев рукой голову, и неотрывно смотрела на неподвижную гладь реки. День угасал. Солнце клонилось к горизонту. На воде заискрилась золотистая полоса. В розовом мареве вспыхивала река, алели кустистые облака.

Солнце стояло высоко, и его короткие прямые лучи золотили вершины сосен, обсыпанные желтовато-белесыми шишками, крутые утесы, скалистые берега.

Клавдия устроилась поудобнее.

На реке все еще бежала розово-зеленая полоса. Она разделила реку надвое, но зато соединила солнце и берег, словно солнце отдавало людям свою энергию. Густым туманом покрылся берег. Солнечный шар распухал. В последний раз вздрогнула солнечная дорожка, добежав до середины реки, остановилась и тяжелой волной покатилась к берегу. Багровым светом вспыхнул шар и упал в густую толщу облаков. По реке вновь начал расползаться розовато-фиолетовый свет. Слышался легкий всплеск волн, да лениво кружились розовые чайки над розовой баржей.

Солнце стояло на линии горизонта, качнулось, дотронулось до воды и упало. Лишь огненная кромка светилась над бескрайней рекой.





## ЯКУТСК

### Крестьянка села Павловского

— Владимир! Владимир! К вам гостья!

Вихрастый паренек бежал с косогора, покрытого первой яркой зеленью. Стояли теплые майские дни, и над тайгой висел зеленый туман и птичий гомон. Оделась пушистой хвоей лиственница, набухли почки багульника. Красные ветви вербы украсились барашками. Река подергивалась мелкой рябью. Воздух чистый, смолистый.

Урасов пристал к пологому берегу Лены. Большое село Павловское. Здесь он отбывал ссылку. Собрал удочки, завязал сачок с окунями и быстро зашагал к селу.

— У вас остановилась... — торопливо говорил паренек, едва поспевая за Урасовым. — Маменька пустила, а меня послала... Красивая такая, молодая. Только почти без вещей.

Кто ж это отыскал его в этой глуши?

Почти два года как он поселился в Павловском, снял горницу в доме старообрядцев Козловых. Люди они добрые и работающие, живут бедно, но дружно, большой семьей. Урасов с трудом различал ребятишек, все они похожи друг на друга,

все белобрысые, большеголовые, с широкими носами и лукавыми голубыми глазами, и он частенько путал, кому из них шил очередную пару ботинок.

Урасов поставил удочки у березы с красноватыми сережками и нетерпеливо шагнул в горницу. Пышная, дородная хозяйка улыбнулась ему и сказала по-украински певуче:

— Гостью бог послал... Дожидается вас...

Володя распахнул дверь и глазам своим не поверил: Клавдия! У Володи перехватило дыхание. Они крепко обнялись, расцеловались. Стояли долго, не в силах начать разговор.

Наконец Володя подвел ее к окну, приподнял ситцевую занавеску и повернул лицом к свету.

— Какими судьбами, Клавдичка? Поверить не могу...

— Да только что приписали крестьянкой села Павловского на вечное поселение... Ну, у старосты сразу же спросила: есть ли кто из политических... А он называет Владимира Александровича Урасова... — Клавдия счастливо рассмеялась. — Знаешь, я даже не сразу сообразила, что Владимир Александрович — это ты!..

— Мужаем, Клавдичка! — шутливо пробасил Володя.

И оба весело рассмеялись, держась за руки.

— Раздевайся, Клавдичка... Хорош хозяин — гостью накормить не может!..

Клавдия сняла бушлат из грубого солдатского сукна и осталась в холщовом каторжном платье, сером в синюю полосу. Поправила волосы, закрученные в тугий узел, и села к столу, разглядывая комнатку.

Небольшая, чистенькая, с дощатым потолком и рублеными стенами. В углу у окна — старинная кровать, покрытая голубым тканевым одеялом. Рядом самодельная тумбочка с небольшим зеркальцем. У стены низенький стол. Русская печь.

Володя суетливо собирал на стол. Клавдия никогда не видела его таким взволнованным. Она благодарно ему улыбнулась.

— Я тебе, Клавдичка, во всем помогу... Не беспокойся. Научу рыбу ловить. Сыта будешь. Деньгами на первое время помогу. Я когда уходил этапом, батяка мне две золотые десятки заделал в каблуки сапог. — Охотничьим ножом Володя резал хлеб, прижав каравай к груди. — Туфли тебе сошью... А там, может, найдешь уроки... Проживем...

Клавдия смотрела на него с нежностью. Сильно изменился за эти годы. Похудел, кашлять начал: в тюрьме открылся у

Володи туберкулез. Увидев, как постарел он, расстроилась. Лицо заострилось, уши казались большими... Кашлял виновато, приглушенно... Не хочет огорчать своей болезнью — поняла Клавдия.

Хозяйка внесла шипящую сковороду с жареными окунами, а затем и самовар.

— Как ты дошла, Клавдичка? Измучилась небось?

— Дошла, как все... Продержали недельку в Якутске. А теперь вот и тебя разыскала. Батя твой поклон прислал.

Володя радостно улыбнулся.

— А я и спрашивать-то боялся... Писем что-то давно не получаю...

— Мать меня провожала на вокзал. И Александр Иванович. Он помог ей, когда партию гнали... — Глаза ее стали грустными. Помолчав, добавила: — Не волнуйся, Володя, здоров твой батя... А как ты? — И шутливо попросила, стараясь скрыть тревогу: — Выкладывай! Забыл, что я фельдшер... Правда, господин жандармский ротмистр предсказывал, что фельдшером мне не суждено стать... А ведь правильно предсказал...

Клавдия принялась за еду.

— Рассказывай, как жил эти годы.

— Долгий разговор, Клавдичка... Ну, ешь, ешь. Когда партия ссыльных прибыла в Олекму, узнали об убийстве Столыпина... Обрадовались, а я, грешным делом, подумал: «Начинается. Революция не за горами. Скоро на свободе будем!» Только погнали дальше. Добрались до Якутска. Почти всех отпустили из тюрьмы, а меня нет. Что за напасть? Губернатор молчит, причины не объявляет. Думаю, что-то лихое написали мне в документах. Недаром караульный офицер в этапе чертом косился, цепи на руках частенько проверял... Как-то под вечер подошли политические к тюрьме и потребовали объяснения: почему держите в заключении? К тюрьме подъехал губернатор. Он не может меня освободить по письменному указанию Столыпина. Все от удивления руками развели. Только Сизов, моряк из Владивостока, не растерялся. Потер ладонью лоб и басом грохнул: «Позвольте, господин губернатор, подпись министра Столыпина уже недействительна. Его же нет в живых. Я уверен, что он в аду горшки обжигает!» Все рассмеялись. Губернатор поморщился. Ну, меня еще недели две продержали в тюрьме, потом отправили в Верхоянск. Дали «полняк», иными словами — теплые вещи и среди них суконный халат с вшитым на спине желтым тузом. И повезли за Поляр-



ный круг якутские казаки. По реке Алдану шел сплошной лед. Пришлось переждать. Поместили в якутской юрте. Якуты встретили хорошо, они любят «сударских». До следующего стана добирались на оленях. Морозы отчаянные, с ледяными ветрами... Закоченеешь, пока по тундре до стана доберешься. С нарт не сойти: ни рукой, ни ногой не пошевелить. Казаки брали меня, как куль с мукой, и бросали в юрту. У камелька согреешься и тут же уснешь. Почти месяц добирался до Верхоянска. Обморозил лицо. Как-то взглянул на себя — испугался: черный весь! А руки, ноги... Ужас! Началась полярная ночь. Морозы, слепая вечная темнота, вьюга, ветры. Ни газет, ни книг... У жителей то волчанка, то трахома. Через Верхоянск проезжал в ссылку однажды эсер — сын богатого московского купца... Поверь мне, Клавдичка, тринадцать нарт гнал. Спирт вез, продовольствие, оружие... Барышник, а не партийный работник. Куска хлеба никому не дал. Так и увез тринадцать нарт! Я просто обалдел — какой шкурник! А помнишь, в Пермской тюрьме все эти эсеровские «комитетчики» собирались в одну камеру и выпрашивали у начальника всякие поблажки. А наш Михалыч или Артем? Помнишь, Михалыч тифозного товарища выхаживал в тюрьме. Все боялись заразиться, а он ночи около больного просиживал...

— Михалыч! Сравнил... Я в этапе познакомилась с Емельяном Ярославским. Он отбыл каторгу в Горном Зерентуе, а теперь ссыльный в Якутске. Хороший, душевный человек. — На лице Клавдии появилось мягкое и нежное выражение. Глаза заискрились...

— Рад за тебя, — сердечно сказал Володя. — Как-то в Верхоянске зашел я к доктору: трахома началась. Доктор послушал мои легкие, покачал головой и посоветовал написать губернатору заявление. Взял и перевелся в село Павловское, где ты и нашла меня сегодня, Клавдичка!

Володя радостно закивал головой, обнял и расцеловал ее.

— Я уже спросил хозяйку. Комната есть рядом, у Кушнаревых. Если тебе понравилась моя, то занимай. Я куда-нибудь переберусь...

— Спасибо, Володя. Я здесь не думаю задерживаться... Вот тебе последняя литература. Все, что мне удалось достать.

— Вижу, Клавдичка, глаза у тебя слипаются от усталости. Пойдем, отведу тебя, крестьянка села Павловского, к Кушнаревым...

На левом берегу Хатыстаха, мутного и тихого притока Лены, стоит город Якутск: горбятся крыши деревянных домов, блестят купола церквей, на немощеных улицах доски вместо тротуаров, грязь непролазная, а дома добротные, с погребами и приземистыми амбарами.

В тот хмурый и дождливый августовский день по небу ползли рваные черные облака. Лишь на западе над рекой они казались кроваво-красными. Ветер перекачивал по пристани жухлые листья осины. Наступила ранняя сибирская осень, холодная и ветреная.

Пристань в Якутске была небольшой, убогой. На отлогом берегу, размытом дождями, сиротливо чернела деревянная контора с покривившейся вывеской и склад, заваленный досками. У дощатого плота, укрепленного на толстых сваях, зеленых от ила, плавали черно-сизые разводья нефти. Тихо билась о плот Лена, рябая от дождя.

Клавдия с трудом вытаскивала ноги из вязкой грязи, придерживая длинное черное платье. Рядом размашисто шагала ее муж, Миней Губельман, известный в городе по партийной кличке Емельян Ярославский. Прошло всего несколько месяцев, с тех пор как она переехала из села Павловского в Якутск. Емельян Ярославский и оказался тем незнакомцем, который бросил букет Клавдии на баржу, когда партию арестантов спускали по Лене.

В поношенном пиджаке шел Володя Урасов. Наступил день его отъезда. Отъезд был неожиданным: Урасов попал под амнистию.

Разбрызгивая липкую грязь, промчался Юшматов, якутский купец, заправила города. Грузный, багровый. Он нахлестывал лошадь, щеголеватые дрожки отчаянно подпрыгивали на ухабах. Купец покосился на «политиков» и еще раз стегнул лошадь.

Пароход «Витязь» с широкой голубой трубой протяжно гудел. Густыми клубами валил черный дым. Грузчики катили бочки в железных обручах. Якуты в малахаях проносили тюки с пенькой. Резко скрипели тачки, на которых по шатким сходням поднимали свежую рыбу. Капитан равнодушно посасывал трубочку и разглядывал публику, собравшуюся на берегу. На палубе громоздились деревянные сундуки, плетеные корзины, узлы, на которых сидели женщины с детьми, закутанными от дождя и холодного ветра. Слышался крик и громкий плач.

Неподалеку от схода сгрудилась горстка людей, совсем не похожих на обывателей, толкавшихся на пристани.

Клавдию встретили радостно. Колония политических ссыльных провожала уезжающих в Россию.

Емельян быстро сбросил пиджак и накинул его на плечи Клавдии, не обращая внимания на ее протестующий жест.

— Друзья! Вы скоро будете в России! Увидите родных, товарищей.— Клавдия говорила задумчиво.— Поклонитесь родному дому и от нас. Некоторые расценивают амнистию как акт царского милосердия, царского прощения. Но мы в этом не нуждаемся! Нас не в чем прощать. Нас держали в казематах, мучали в застенках! Лучшие сыны России и сейчас в тюрьмах, и сейчас на каторге. Мы никогда не забудем тех, кто отдал жизнь за свободу. Акт освобождения «от ответственности и наказания со всеми онаго последствиями» — подумаешь, какие благодетели! Нас обвиняют в посягательстве на ниспровержение существующего строя. Мы не уважали бы себя, если бы считали, что произвол и насилие должны быть вечны! Рухнет строй, который триста лет грабит и унижает русский народ! Амнистия коснулась так называемых политических преступлений. Они даже членов Государственной думы, народных избранников, тех, кому гарантирована неприкосновенность личности, тоже считают таковыми. Здесь с нами на «Витязе» кочегар — депутат Государственной думы Приходько!

Длинная шашка, пристегнутая к портупее, била по ногам. Полицейский огляделся и начал пробираться сквозь толпу.

— Господа, господа! Митинги не разрешены. Прошу разойтись!

Ярославский двинулся ему навстречу. Он взял полицейского под руку:

— Вы ставите себя в смешное положение. Митинг разрешен губернатором!

Ярославского, старосту колонии ссыльных, знали все полицейские, знали, что спорить с ним невозможно, все равно в дураках останешься. Ты ему слово, он тебе — десять. И законы — назубок. Куда там ему — губернатор и тот не совладеет! Полицейский переступил с ноги на ногу и махнул рукой.

Ярославский подошел к Клавдии. Пароход дал резкий свисток, Урасов поспешил отнести свой сундучок на палубу. Толпа зашевелилась.

К пристани тянулись большие возы с сеном. Хмурые мужики подгоняли мохнатых сибирских лошадей. У низкого здания якутской пристани покачивался железный фонарь с раз-

битым стеклом. Чуть поодаль наклонился телеграфный столб с обвислыми проводами.

Клавдия тоскливо глядела на пароход. Последний пароход по Лене! Скоро река станет и покроется на долгие месяцы льдом. И на этом последнем пароходе уходили ее друзья. Отыскав глазами Володю Урасова на палубе, она припомнила, как жили они в Павловском, как встречали Ярославского, зачавшего к ним. Счастливыми были те дни. Вместе ударили рыбу, охотились и спорили до хрипоты. Как-то Володя подстрелил цаплю, из которой она пыталась сварить бульон; бульон получился горьким, невкусным... Клавдия знала, что с отъездом Володи уходила из ее жизни юность. И от этого ей было тоскливо.

Заботливо собирала его Клавдия в дальнюю дорогу. На последние деньги купила продукты, теплые вещи. Клавдия взглянула на Ярославского... Мысли ее потекли спокойнее... Теперь она работает ретушером в местной фотографии. Поступила туда сразу по приезде в Якутск. Колония политических жила дружно. Из кассы каждый мог взять рублей двадцать пять. На эти деньги можно было прожить сносно и не голодать, как в иных местах. Организовал все это Ярославский. Как много у него сил. Косятся на него некоторые: зачем, дескать, опять заниматься нелегальной работой. Боятся репрессий, арестов. Да, жизнь в ссылке и так тяжела. Один даже аптекарскую лавку приобрел выгодной женитьбой. Кое-кто понастроил себе домишки: быстро же становятся обывателями. Как-то ранним утром прибежал к ним в дом щупленький ссыльный и, горячась, стал доказывать: счастье, мол, что губернатор в Якутске ведет либеральную политику, что ссыльные свободны от наглого жандармского террора... Ссыльный брызгал слюной: нам, мол, доверяют, нас принимают за людей, а вы опять за нелегалщину... Хотите террор спровоцировать... Ярославский побледнел, выбросил паникера за порог. Нет, такие люди, как Ярославский, выдюжат, если нужно. Якутск так оторван от России. Новости идут месяцами. Телеграф работает плохо. Из газет много ли узнаешь? Новости приходят с товарищами, прибывшими в ссылку. Так же прибывала нелегальная литература... Трудно в ссылке. Недаром о ссыльных ходил анекдот. Его любил рассказывать Ярославский. Прищурится, ущипнет ус, улыбнется и баском спросит: «Не возьмется ли ссыльный провести дорогу на Луну?» Помолчит и ответит: «Об условиях пана расспрашивать долго не буду и о трудностях не заикнусь, только поинтересуюсь, сколь-

ко заплатят?» Анекдот анекдотом, а найти работу — ох как трудно! Вот почему такое большое дело сделал Емельян, создав кассу взаимопомощи.

Покачиваясь на сходнях, спешил к Клавдии Урасов.

Клавдия крепко обняла его.

— Поклонись от меня матери. Скажи: вышла замуж... Ну, в общем, расскажи все. Скоро и нас освободит революция... Ты, Володя, пиши мне. Обязательно напиши.

Володя гладил ее по каштановым волосам, смущенно кашлял и молчал. Руки его предательски дрожали. Ярославский подошел к Клавдии, обнял ее за плечи. Володя быстро взбежал по сходням.

И долго еще стояли на якутской пристани Клавдия и Ярославский.

### «П а с п о р т н о е   б у р о»

С площади, зажатой церквями и запруженной народом, Клавдия свернула на Большую улицу и направилась к музею. Над Якутском плыл праздничный благовест. Доносился гул толпы. Толстый лавочник стоял у ворот и крестил лоб, неодобрительно поглядывая на Клавдию. Политическая! Баба в цветастом полушалке прижала к себе худенькую девочку. Из переулка к площади потянулась толпа, возглавляемая полупьяным Пашкой Юшматовым. За эти страшные месяцы мировой войны купец разбогател на махинациях и стал городским головой. В этот теплый день для солидности он надел суконную шубу на лисьем меху и бобровую шапку. Пот катил градом, и Пашка размазывал его грязной рукой. Он обернулся и громко прокричал, размахивая хоругвью:

— Даешь Берлин! Даешь Краков!

— Даешь Кряков! — озорно подмигнул Клавдии гимназист в заломленной фуражке.

Уже не впервые в Якутске проходят «патриотические» манифестации в честь победы русского оружия. Приказчики, лабазники, чиновники, торговцы — все, словно сойдя с ума, радуются войне. А какой восторг вызвало известие о том, что губернаторша шьет для солдатиков заячье одеяло!

Клавдия решила переждать манифестантов в казенной типографии, потом пошла к краеведческому музею.

Уже два года как она перебралась в Якутск. Тогда в Павловское приехал за ней Емельян и увез в Якутск, где сам отбывал ссылку. Мало говорил о своей любви Емельян, но в

глазах его было счастье, и Клавдия поверила на всю жизнь. Так пришла любовь, настоящая, большая...

У Ярославского за плечами жизнь профессионального революционера. Аресты, каторга, ссылка. Двенадцать лет на казенных харчах и в даровом помещении. Двенадцать лет! Шесть арестов! Последний в 1907 году, после Лондона. Выдал его провокатор. Арестовали в Петербурге у Финляндского вокзала. Полтора года просидел до суда в «Крестах» в одиночке. Получил семь лет каторги. Дело слушалось при закрытых дверях. Свидетелями выступали агенты охраны да полицейские. Емельян виновным себя не признал. Следствие велось столь поспешно, что его перепутали с братом, стрелком 18-го Восточно-Сибирского полка. Суд в подробности не входил. Охранка хорошо знала, что судили руководителя боевой организации, узника одиночек — Ярославского! Провокатор это подтверждал. Как-то прокурор повернулся к Ярославскому и указал на него пальцем: «Вот он — типичный закоренелый революционер!»

После суда заковали в кандалы и отправили в пересыльную тюрьму. Почти два года пробыл он в каторжном отделении. А потом перевели в Бутырки, в Москву. Тяжелыми были эти месяцы. Он даже обрадовался, когда его этапом погнали в Нерчинскую каторгу. В Горном Зерентуе пробыл он до окончания срока.

После каторги на Лене и состоялась их встреча. И Клавдия вспомнила тот букет, тот эдельвейс. Добрым, широкой души человеком оказался Емельян.

Клавдия распахнула калитку музея, директором его был Ярославский. Они жили в маленьком деревянном флигельке. Она обошла первые проталины, полюбовалась зелеными барашками ивы, послушала весеннюю капель. На красноватом ивовом кусте пристроился дрозд, сверкая глазом-бусинкой. Клавдия взмахнула рукой, но дрозд не шевельнулся. Клавдия засмеялась и вошла в сени.

Низкая комната с бревенчатыми стенами была уставлена самодельной мебелью. Этой мебелью Ярославский гордился. Он сам ее сделал. Емельян сидел за письменным столом, заваленным книгами.

Услышав стук, повернул крупную голову и с удивлением, которое не оставляло его все время после их знакомства, сказал:

— Клавдичка! Наконец-то!

Он быстро поднялся, шагнул ей навстречу.

— Ты что меня рассматриваешь, Емельян? — Клавдия чуть покраснела. — Вот получай свои газеты. Шла из фотогафии и газеты захватила.

— Все привыкнуть не могу, Клавдичка. — Ярославский поправил пенсне и смущенно развел руками.

Клавдия положила газеты на стол и подняла брови, заметив на столе синюю тетрадь, дневник. Не часто доставал свой дневник Емельян, и она всегда дорожила этими минутами. Клавдия раскрыла дневник, положила его поверх отчета о работе музея для Русского географического общества. Потом усадила Емельяна за стол и, прижавшись к нему плечом, начала листать дневник.

«Вспоминаются минувшие годы, и у каждого встают образы пережитого, и хочется снова облечь их в плоть и краски жизни...»

Она любила листать пожелтевшие страницы. Любила читать дневник. Хотелось понять, о чем думал муж, когда они еще не знали друг друга, представить те дни, когда он жил без нее. Дневник Емельян вел на каторге, записи зашифрованы, перемежаются выдержками из книг.

«17-го вечером г-н потребовал в камерах пения молитвы, команды, обращения с заключенными на «ты», грозил поркою. В ответ на это в ночь с 18 на 19-е отравилось сразу девять человек: Пирогов, Михайлов, Мошкин, Черстов, Козлов... Трое последних умерли. 19-го на обыске г-н повторил свое требование, и тотчас же отравился и умер Пухальский. Не было ни одного сдавшегося за все время голодовки».

Клавдия горько вздохнула и теснее прижалась к мужу.

«Небо такое яркое сегодня, голубое. Я запрокидываю голову и шурюсь на солнце. О чем щебечут задорно воробьи? Ах, они щебечут. говорит в шутку один, я знаю что: арестантики, арестантики, арестантики! Как хорошо теперь под весенним небом, весенним вечером при закате солнечном и как хорошо по утрам на утренней заре! А вы, арестантики, не можете ни вечерними, ни утренними зорями любоваться — все это для вас закрыто затворами, запорами, решетками... Арестантики...»

— Знаешь, Емельян, солнышко, утреннюю росу мало замечаешь в обычной жизни, а в тюрьме...

«...Словно из глубины выплывают далекие картины, и так живы они, что громко говорят еще и теперь своими кровавыми и пламенными чертами.

Сегодня был у врача, освидетельствован, признано: болен

бронхитом, катаром дыхательных путей, ревматизмом и неправильная деятельность сердца».

— А вот и стихи. Прочти их сам. У тебя лучше получается.

Из-за горных снежных сопок, через степи, лес и горы,  
Из тюремных стен неволи сердцу сердце отвечает...  
Отчего ж слеза, невольно набегая, туманит взоры  
И душа, сжимаясь болью, близких, милых вспоминает.

Близок, близок час свободы, скоро кончится неволя,  
Звон цепей, затворы, стражу — все оставляю за собой,  
Снова встречусь я с тобой, мое счастье, моя доля,  
Снова будет жизнь с страданьем, счастьем, радостью, борьбою!

Но в цепях, под стражей, в муках здесь оставляю вас я, братья,  
А на воле встречу снова прежний круг своих друзей,  
Но всегда я слышать буду ваши стоны и проклятья,  
...Кто губит ваши силы — шайка гнусных палачей!

— Царь! — твердо сказала Клавдия — Царь.

— Успокойся, Клавдичка. Дай-ка я лучше прочту еще один стихотворный опус. Тоже в тюрьме писал:

В окно я вижу — белеют горы,  
Дорога вьется, уходит вдаль.  
Туда так часто стремятся взоры,  
И в них тогда тоска, печаль.  
Надежды блекнут, уходят силы,  
А их так много тюрьма берет...

— Знаешь, я давно хотела тебя спросить...

На дворе хрипло залаяла собака. В сенях послышался топот. В дверь постучали, и вошел пристав Рубцов. За ним — полицейские. Клавдия сердито передернула плечами: опять врываются в дом. Холодно спросила, прищулив глаза:

— Чем обязаны?

Рядом с ней вырос Ярославский:

— Чем обязаны?

Глаза его неприязненно блеснули из-за стекол пенсне.

— По предписанию иркутского жандармского управления в доме ссыльнопоселенца Минейя Губельмана обязан произвести обыск. — Пристав Рубцов приложил руку, затянутую в желтую перчатку, к козырьку и кивнул полицейским.

Те, громыхнув шашками, привычно приступили к обыску. Рубцов неторопливо перелистывал книги, стоявшие на деревянной полке у кровати. На немецком языке, на английском, польском, даже на китайском. Рубцов вздохнул: чего только не увидишь у этих политических!



Обыск делали поверхностно, и это сразу насторожило Клавдию, столь опытную в таких случаях. Она не спускала глаз с Рубцова. В музее в одном из ящиков рабочего стола Ярославского хранилось «паспортное бюро». Конечно, название громкое, но точнее его не определишь. «Паспортное бюро» — это подложные документы и фальшивые паспорта для политических ссыльных, которым организация устраивала побег из Сибири. Ярославский ликвидировал кустарщину в этом деле, завел «паспортное бюро» — с десятком подложных печатей государственных учреждений и пачкой чистых паспортов. Теперь побеги проводились солидно, а главное — участились. Очевидно, это и волновало иркутское жандармское управление.

Рубцов заглянул в столовую. Неохотно раскрыл створки буфета, скинул подушку с дивана. Постоял, потоптался. Приподнял коврик у кровати, постучал по стенам...

Нет, обыск поверхностный! Наверняка знают о «паспортном бюро». Если попросят пройти в музей, то Емельяна арестуют. Сердце ее заныло. Арестуют! Опять тюрьма... И, словно подслушав ее мысли, Рубцов, взглянув из-под седых бровей, решительно приказал:

— Господин Губельман, проводите нас в помещение музея.

Клавдия вздрогнула, но заставила себя улыбнуться и пропустила пристава вперед. Рубцов галантно уступил ей дорогу.

Рабочий кабинет Емельяна маленький, тесный. С каким увлечением показывал он ей свои каталоги, коллекции, читал главы отчета! А сейчас она ведет туда полицейских. Что же будет? Она слышала за собой звон шпор и тяжелое астматическое дыхание Рубцова. Шла по полутемным залам музея, смотрела на чучела зверей и птиц. «Арестуют, арестуют!» — обжигала тревожная мысль.

Кабинет, вернее, закуток, отгороженный стеклянной перегородкой от музея, заставлен ящиками. Рубцов постоял около них, приподнял одну крышку, другую, потрогал куски минералов.

— Опять прислали? — осведомился он.

Ярославский рассмеялся:

— Почему опять, господин Рубцов?

— Да вы здесь всех взбаламутили, всех, кто в тайгу собирается, просите образцы прислать. Вот и сами надумали рабочим в поисковую, на Олекму. И притом задаром! Какие-то легенды там записывать. Охота вам... — Рубцов скучающе отвернулся от ящиков.

— Край якутский таит несметные богатства. Их нужно найти, отдать людям. В этом долг культурного человека,— сухо отрезал Ярославский.

Один из полицейских, с лисьей мордочкой, так и поводил глазами. «Знает, знает!» — думала Клавдия. Ящики почти не тронули, книги и реестры не поглядели, со стола лишь для приличия взяли несколько бумаг. А вот письменный стол, дубовый и массивный... «Паспортное бюро». Чистые бланки, добытые с таким трудом, фальшивые печати почти всех государственных учреждений, коробка с мастикой, фальшивые паспорта — все в этом столе. Сколько раз она просила Емельяна перенести «паспортное бюро» домой. Не разрешил: в случае провала она попадет в тюрьму. «Если что случится, отвечать буду один!»

Рубцов пытливо посмотрел на Ярославского, и тот выдвинул первый ящик. Аккуратные стопки карточек, глянцевые, с черными полосами.

— Картотека по минералогии,— объяснил Ярославский.

— Готова? — поинтересовалась Клавдия.

Она вынула пачку, вслух прочла одну, другую, стараясь заинтересовать Рубцова. Тот кивал, потом попросил открыть второй ящик. Ярославский охотно шелкнул ключом. И опять — аккуратные плотные стопки: карточки по археологии, ботанике, энтомологии.

Клавдия тотчас взяла грудку карточек и улыбнулась.

— «Экспонат 1784 — эдельвейс — многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Все растение густо покрыто белыми волосками. Соцветие окружено длинными волосистыми кроющими листьями, вследствие чего похоже на белую звезду. Растет главным образом в Альпах. В Сибири, в Якутии, встречается очень близкий вид...» — Она замолчала и, вложив карточку в стопку, принялась за следующую: — «Шавель Ruptex — род многолетних травянистых растений или полукустарников семейства гречишных».

Рубцов подавил зевоту, Ярославский прижался боком к третьему, заветному ящику.

— Посмотрите, господин Рубцов! Экая красавица! Правда? — не унималась Клавдия, подходя к чучелу полярной совы.

Рубцов вяло улыбнулся, а Клавдия с жаром стала рассказывать, как знакомый якут принес в музей убитую птицу, как долго трудился ее муж и как хорошо, что наконец-то музей получил это сокровище. Ярославский глядел на пристава, с трудом удерживаясь от смеха. Ну и Клавдичка!

Щеки пристава покрылись красными пятнами. Этому иркутскому жандармскому управлению все мерещится. Видите ли, обнаружили организацию, которая готовит побеги ссыльных! Какая там организация. Бегут — и все! Организация! Да он, Рубцов, никогда не потерпел бы ее в своем городе! Он был не против утереть нос этим выскочкам и шелкоперам из губернии. Пусть там у себя ищут эту организацию! К тому же он устал от этих карточек, картотек, коллекций, устал от любезной и милой, но слишком говорливой хозяйки...

— Я так и знал.— Рубцов отвел глаза в сторону и потрогал чучело белой совы.— И кто это у вас доносами занимается?.. Нехорошо-с!

Полицейский с лисьей мордочкой просительно и недоуменно смотрел на пристава. Рубцов, поморщившись, бросил через плечо:

— Распорядись, братец, чтобы подавали дрожки! Честь имею. Попрошу зайти в полицию и получить бумаги после просмотра.

Клавдия просияла.

## Дневник

«Девочка моя родилась 15 января 1915 года в час дня без двух или трех минут. Страшно мучилась я около трех суток...

Несказанная радость ворвалась в сердце, и оно дрогнуло от блаженных чувств. «Девочка, родная моя девочка», — повторяла я. Потом смотрю: крохотная, худенькая, черные длинные волосы.

Лежит рядом со мной и удивленно своими большими черными глазами смотрит, как будто рассматривает, где она...

Я очень, очень болею и только по ночам могу записывать о тебе, моя девочка. Сначала казалось, что не нужно дальше рассказывать о тебе, моя крошка, но потом решили. И еще несколько дней прошло: отец Миней по магазинам Якутска разыскивал красивую куклу».

Клавдия закрыла дневник — дневник для дочери Марьяны, в котором делали записи ее мать и ее отец — Клавдия Кирсанова и Емельян Ярославский.

3 мая

Своей маленькой девочке пишу я в первый раз. Я присутствовал при твоём рождении, Марианночка, я первый увидел, как появилась ты на свет. Какая это была радость для обоих нас! Мать и я — оба мы и смеялись, и плакали, и такой нежностью к тебе полны были! Так я и ходил несколько дней сияющий и всем говорил о тебе. Про меня даже смешные истории стали рассказывать, будто я во все серьёзные разговоры вставляю свои мысли о тебе и забываю, о чём говорю...

Теперь бывает уже тепло, и мама выносит тебя погулять. Ты разглядываешь смешную собаку Медведку. Сегодня я пришёл и застал тебя на своей кровати после прогулки. Ты лежала, запрокинув голову, подняв на воздух ножки в тепленьких ватиновых башмачках, сшитых мамой. Болтала ими в воздухе, размахивала руками и в каком-то восторге разговаривала на своём ребячьем гха-ха, кхи-гхы и смеялась без конца...

Я на второй день после рождения познакомил тебя с Марком и Бебелем. Я принес тебя, завернутой в конвертик, в комнату, где на стене висят сделанные мною портреты их. Я говорил с тобой о них полушутя-полусерьёзно, а в голове была мысль неотвязная — она часто мне приходит, — что ты не будешь знать тех мук, какие нам знакомы, что царство свободы, равенства и братства будет ближе к тебе. Девочка моя светлая, солнышко светлое, живи радостно, светло, ярко...

Хочется сказать о тебе много-много. Хочется, чтобы ты знала о себе, как ты жила в первые дни своей жизни.

6 мая

Вот и опять пишу, и почему-то больно: буду ли я ещё писать тебе, скоро ли напишу. Живём мы так, что сейчас весь мир — рай прекрасный, а завтра — жить не хочется. Вот пришла такая страшная минута у твоего отца. Тебе никто никогда не скажет про отца нехорошее. Я тебе хотел, девочка моя, писать только о тебе, а вышло так, что пишу о себе. Надо, чтобы ты знала, как жил твой отец, когда ты не могла видеть его жизни. Тебе мама расскажет об этом. Но ты должна знать, что в страшную минуту у него не было других мыслей, как о тебе и твоей маме, потому что никогда никого отец не любил так, как вас обеих. Спи, моя крошка, радость! Расти для жизни более светлой, чем наша.

15 июля

Марианночка! Радость наша! Сегодня тебе исполнилось полгода. Расти, счастье ты наше. Свети нам, солнышко! Как ты хороша, я не могу и не сумею рассказать. Вчера ты много лепетала «па-па», «па-па» то шепотком, то вполголоса. Миленькая девочка моя, есть много интересного рассказать тебе, только времени для этого у меня и у папы мало. Спи, моя крошечка, наш цветочек нежный, и папуська уже лег, милый наш «па-па». Завтра с солнышком и ты поднимешься, разбудишь нас. Мы всегда почти с папкой вместе все для тебя делаем. Ах, если бы знала, как тяжела наша жизнь... Как тяжела... Марьяночка, солнышко мое, будь здорова.

16 августа

Счастье наше! Сегодня возьмем тебя с собой! Ты не только нас, а и чужих, кто видит тебя, радуешь. Ты уже сидишь, ползаешь пресмешно, переворачиваешься со спинки на животик и вертишься, как говорит твой «отецка», вокруг своей оси. Чувство недовольства выражаешь бурно... А больше всего ты смеешься. Такая ласковая ко всем, особенно к дядям. Есть у твоего папки ученик — якутский мальчик Вени, ты его любишь, улыбаешься ему, тянешь ручонки.

8 сентября

Все мне некогда писать тебе, моя девочка-крошка. Вот третьего дня ты отчетливо сказала «ма-ма». Какая радость охватывает сердце при взгляде на тебя, при каждом новом звуке! Ты вот уже знаешь киску, только не живую, а нарисованную отцом с открытки. Пресмешная такая. И когда я говорю «кис-кис», ты поворачиваешься к картинке, улыбаешься кошке и потихоньку шепчешь: «Ксь, ксь!»

30 сентября

Девочка, растешь ты, право, не по дням, а по часам. Вот 6-го числа ты порадовала нас тем, что сама, самостоятельно, уцепившись пухленькими ручонками за борта своей колясочки, поднялась на ножки. Выпрямилась и, улыбаясь, смотришь на меня. Я позвала папку, и оба мы смеялись, глядя на тебя! А вот вчера ты уже пошла, уцепившись за край колясочки. С завтрашнего дня ты будешь расти не одна. Берем тебе братишку — маленького-маленького Вовочку. У него тяжело больна мама, умирает... Она нам оставляет его, надеясь, что ему будет хорошо так же, как и тебе. Вот весело тебе будет, ты так



любишь деток. И он не один будет расти. Он такой же маленький, как и ты. Старше его ты только на два дня. Станете с ним лепетать. Здоровьем и резвостью ты поражаешь всех. Вот только зубки что-то запоздали, хотя это меня пока не беспокоит. Будут еще. Ну, спи, моя крошечка, спи, родненькая. Хорошо тебе, чисто, тепло. Забочусь о тебе всегда.

*6 мая 1916 года*

Сегодня я, ты, моя крошка, и папа ходили в лес верст за восемь от города по вилюйской дороге. Были мы там с папой раньше. Я бродила целые дни летом 1914 года, когда тебя еще не было. Как только выехали за город, ты удивленно и внимательно начала разглядывать все вокруг: воду в озерах, деревья, облачка, бегающие по небу. А когда мы вышли в лес и я опустила тебя на землю, ты радостно побежала, указывая на веточки, цветы, на папу, собирающего цветы. Как только он скрывался из виду, ты остановишься, вскинешь глазки на меня, разведешь ручонками. Я все время, не отрывая глаз, наблюдала тебя. Девочка, как много даешь мне и папе радости. Ведь такой ужасный год мы переживаем — ВОЙНА, — много погибших, а сколько деток бедных погибло от голода, от мороза, от невзгод, деток, таких же прекрасных, как ты...

*15 февраля 1917 года*

Девочка, ты стоишь у стола и пишешь на книжке, мама рядом. Я шутя, но серьезным тоном говорю: «Марьяночка, хочешь, я съем маму?» Ты спрашиваешь: «Почему?» Я говорю: «Так просто съем». Ты раскрываешь широко глаза и говоришь: «Тогда мамы не будет». Мама говорит: «Нет, я съем папу». Ты, моя милая девочка, говоришь: «Зачем? Я тогда плакать буду, папы не останется».

«Ты чья девочка?»

«Мамина».

«А моя девочка где?»

«Ну, и твоя тоже».

Был художник Иван Васильевич Попов. Ты взяла свои книжки с раскрашенными картинками и рассказала ему:

«Старушка собирает ягоды. Елочка маленькая, будет большая. Девочка ягоды набрала в корзиночку. Старушка, с палкой, сердитая, поймала девочку и говорит: «Дай ягоды!» Отобрала, пошла домой. Девочка сидит плачет. Елочка говорит: «Не плачь, девочка». Ягоды назад покатались к девочке. Старушка сидит сердитая-сердитая».

На пыльной Большой улице каменный дом с коническими башенками. На двери — вывеска: «Якутский областной музей», а позади, в глубине двора, деревянный домик с резными наличниками на окнах и ветхой водосточной трубой. На заваulinке пристроился молодой якут — низкорослый крепыш. Он щурит узкие глаза и неотрывно смотрит на почерневшую от времени калитку. Рыжая лайка тоже не отрывает блестящих глаз от калитки. Якут стирает с бронзового лица пот и приглаживает рукой прямые жесткие волосы.

День стоит для Якутска жаркий. Ослепительно светит солнце. Небо безоблачное, голубое. В расшитой оленьей куртке якуту душно. Едва приметная мошкар дымными столбами пляшет в воздухе.

— Войди в комнату, товарищ! — приветливо приглашает Клавдия, появляясь в раскрытом окне. — Задерживается сегодня Емельян. Партия ссыльных прибыла. Наверняка он с губернатором ругается.

Клавдия поправила белую кофточку и вновь посмотрела на калитку.

— В доме тяжело. Подожду здесь. Спасибо. — Якут затаил протяжную, тоскливую песню, раскачиваясь всем телом.

Клавдия выкатила самодельную деревянную коляску с ситцевым верхом, села рядом с якутом, блаженно подставив лицо солнцу.

— Хорошо, когда приходят политические. А то от тойонов нет житья. Закупают товары в городе на ярмарке и держат в юрте. Весь улус и ходит к тойону на поклон. А он заламывает цену любую, грабит народ. — Якут набил деревянную трубку табаком, раскурил, сделал длинную затяжку.

Мошкар стала не так заметна. Клавдия вздохнула и заметила:

— Тойоны... Тойоны... Народ сильнее тойона. Только выступать нужно всем дружно. А то в одиночку и богатырь Тыгын погиб. Недавно Емельян вернулся из экспедиции по Лене. Красивую легенду записал. Хочешь, расскажу?

Якут наклонил голову и придвинулся поближе. Легенды своего народа он любил слушать и очень удивлялся ссыльным, которые так старательно их записывали.

— Богатырь Тыгын был такой огромный и сильный, что никто не мог его победить. Люто ненавидел он богачей тойонов и русских сборщиков податей. Сборщики быстро дружба с той-



онами завели. Тыгын как завидит в улусе сборщиков, так и выгонит их. Могучий был, бесстрашный. Один его черный глаз весил тридцать фунтов. За два часа был богатырь у высокой горы Иллюн-Хая, что стоит на реке Лене. Ходил он на высоких ходулях. Перешагивал через сопки и пади, через реки и болота. Много раз договаривались тойоны с русскими сборщиками погубить богатыря. Ставили засады, раскидывали ловушки. Только схватить его не могли — не давался им богатырь. И решили взять его хитростью. Однажды пригласили Тыгына в гости. Не хотелось идти Тыгыну, а пришлось: таков закон предков! В Якутске построили большой двухэтажный дом. — Клавдия взглянула на якута и, уловив, что он не отрывал глаза от музея, засмеялась: — Нет, еще выше, выше всех домов. Верхний этаж этого дома опускался, как плашка. Стали угощать Тыгына. Принесли ему чистый спирт. Выпил он ведро, как рюмку. Пять ведер выпил богатырь и стал петь якутскую песню. Пел так громко, что дрожали стены. Веселый был, но не пьяный. Подумали-подумали богачи и принесли еще десять ведер. Захмелел Тыгын, повалился на пол и уснул. Тут тойоны задавили богатыря. Так и погиб Тыгын, защитник бедняков...

Подул ветерок, поднимая облако пыли и песка. Рыжая лайка с радостным лаем вскочила и бросилась к калитке. Там, освещенный солнцем, стоял Ярославский. Сатиновая косоворотка, подпоясанная ремнем, наброшенный на плечи пиджак казались серыми от пыли. Рядом — высокий, худощавый грузин. Лицо усталое, измученное, покрытое болезненной желтизной — верная примета долгого пребывания в неволе.

— Знакомься, Клавдичка, это товарищ Серго. Еле отбил у губернатора. Восемь месяцев этапом шел из Шлиссельбургской крепости, кандалами ноги стер до костей. Поживет у нас, отдохнет, а там будем требовать, чтобы оставили в Якутске. У него предписание в Вилуйский уезд, за Полярный круг. Гиблое дело...

— Здравствуйте, товарищ! Рада, очень рада! — Клавдия крепко пожала руку Орджоникидзе.

— А, друг, хорошо, что меня дождался, — весело обратился Ярославский к якуту. — Завтра собери кружок. Есть для тебя гостинец.

Он хитро подмигнул ему и шагнул в дом. Дом состоял из двух низких комнат с бревенчатыми стенами и сеней. В первой комнате у раскрытого окна в деревянной кадке цвела роза,

обсыпанная белыми бутонами. Усы Орджоникидзе дрогнули в улыбке: южанка в холодном и неприветливом Якутске!

На стене портрет Карла Маркса, к портрету приколот бант из красной шелковой ленты и белая роза. Чуть пониже — в самодельной рамке — Август Бебель. В углу кровать дочки, сделанная Емельяном. По гладко отполированной спинке выжжен узор — тропические деревья и быстрая горная река. Как хотелось ему сделать жизнь своей девочки приятной! Какие игрушки мастерил ей!

Клавдия принялась собирать на стол — знала, как вкусен хлеб, который человек ест первый раз после тюрьмы. Собирала, а сама искоса поглядывала на Серго. У глаз горькие морщинки, да и взгляд все еще напряжен. Походка быстрая, нервная. И ей хотелось помочь товарищу позабыть хоть на время тяжелые годы каторги.

Емельян отдал нелегальную брошюру якуту и еще раз напомнил о кружке. Якут ловко запрятал ее под куртку, видно, занимался он этим не впервые. Блеснул раскосыми глазами под сросшимися бровями и неслышно затворил дверь.

— Работаете? Время зря не теряете... — Серго одобрительно проводил якута взглядом.

Ярославский подсел к Серго:

— Ну, рассказывай! Ленина видел? Как он?

— Владимир Ильич здоров. Как всегда, весь в работе. Виделся с ним последний раз в Праге на конференции, а до этого в Лонжюмо. — Серго блеснул белозубой улыбкой. — В газете «Социал-демократ» прочитал сообщение: в Париже организуется школа партийных работников. Я тогда в Персии был, переправлял партийную литературу через Каспий.

— В Персии? — удивилась Клавдия.

— Да. Пробыл там больше года. Приехал помогать рабочим. Понимаешь, народ поднялся против белого царя. Царь такую колонию терять не захотел и послал войска на усмирение. Начались дикие зверства. Страна запылала... Я работал почти все время в Реште, в революционной провинции. — Серго говорил не спеша, в голосе его, высоком и сильном, чувствовался восточный акцент. — Из Персии я частенько писал Ильичу в Париж. Там-то мне и попалась газета. Поучиться очень хотелось. Я послал заявление и попросил прислать подписной лист для сбора денег, на которые мог бы я существовать в Париже. Наконец лист прислали и пустили по рабочим... На рабочие копейки и уехал в Лонжюмо, захолустное местечко под Парижем. Мы считались там русскими учителями, кото-

рые приехали ознакомиться с французской культурой. Только французы удивлялись: почему это русские учителя ходят бо-  
сыми?

Клавдия и Емельян рассмеялись.

— Так в девятьсот одиннадцатом стал я слушателем партийной школы. Занятия проходили в старом доме. Жили мы коммуной. Здесь же организовали и столовую. Сами внизу, а наверху, под крышей, Инесса Арманд — лектор школы. Смелая, красивая. Рядом со школой поселился и Владимир Ильич с Надеждой Константиновной. Сняли они маленькую квартирку из двух полутемных комнатук и переехали из Парижа. Редкостным лектором оказался Ильич. Только недолго мне пришлось проучиться. На очередь стала Пражская конференция. — Орджоникидзе потрогал колючие шипы розы. Посмотрел в окно, наполовину прикрытое ветром, и вновь вернулся к столу. — Отправился я на юг. Побывал в Киеве, Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе. Шпики ходили по пятам. Удивительно, как я тогда не провалился! Приезжал, проводил партийные собрания, рассказывал о положении в партии, об указаниях Ленина. И наконец, в Праге в январе тысяча девятьсот двенадцатого года открылась конференция. Вернулся я вновь в Россию и заколесил по стране — отчитывался о работе. Начали издавать листовки, прокламации, программные документы — в общем, дело закипело. Ну, и всполошилась полиция: не удастся ликвидировать партию большевиков! Да, нас, большевиков, невозможно уничтожить — мы дети народа, кость от кости его! — Лицо Серго посуровело. В глазах вспыхнул горячий блеск. — Тут начались выборы в четвертую Государственную думу. Я выехал в Петербург. По дороге остановился в Москве и встретился с Малиновским. Его тоже прочили в депутаты. Думаю, что это он меня выдал. — Орджоникидзе замолчал, крепко сжал кулаки. — Страшно на товарища по партии сказать: провокатор! А я говорю... С Малиновским я встречался в партийной школе в Лонжюмо. Не нравился мне он. Позднее с Малиновским виделся на Пражской конференции. Странное, а вернее, неприятное впечатление производил он. Может быть, я ошибаюсь, но он провокатор! Охранка имеет большой козырь, заслав его в партию. Сейчас этот прохвост скрылся из России. Только придет время, покарает его рабочая рука. Да я сам расстрелял бы его без зазрения совести...

Клавдия подалась вперед. Бурю чувств, мыслей, воспоминаний вызвали слова Серго. «Провокатор!» — как страшно, что приходится в партийной работе сталкиваться с людьми

подобного сорта. Почти весь Пермский комитет выдал Фома Лебедев. А когда его разоблачили и предателя ждала смерть, то охранка укрыла его в монастыре! Насупись и Ярославский, вспомнив, как Бродский провалил военную организацию в Петербурге. Каторгой он обязан только ему.

— А как же все-таки тебя арестовали? — спросила Клавдия, вздохнув.

— Арестовали меня в Петербурге, на пятый день приезда. Правда, филеров почувствовал за собой, когда уезжал из Москвы. Они меня с рук на руки передали. И в Петербурге уже провожали питерские шпики. Я все думал оторваться от слежки. Никуда не заходил. Арестовали на улице, у меня документы на имя Гасана Навруз-оглы Гусейнова, жителя Тифлисской губернии. Но на документы смотреть не стали. Жандармский ротмистр лишь презрительно сощурился, бросил паспорт, а меня назвал: «Серго!» Вот тут-то я и припомнил недобрым словом Малиновского! Он! Его рук дело! В октябре тысяча девятьсот двенадцатого года судили. Знали все: и сухумское дело о незаконной доставке оружия, и арест в Баку, и осуждение на вечное поселение, и бегство из сибирской ссылки, и школу Лонжюмо, и участие в Организационной комиссии, и Пражскую конференцию.— Орджоникидзе устало махнул рукой.— В общем, жандармы хорошо мою партийную биографию изучили. Даже вспомнили, что я — дворянин и что царь специальным указом лишал меня дворянства. После суда заковали в кандалы и отправили в Шлиссельбургскую крепость. Отсидел три года. Над воротами при входе в крепость двуглавый орел и позолоченная надпись: «Государева». Седые стены, которые видели казни, и позолоченный орел! Дикость, российское варварство!

Орджоникидзе достал платок и вытер вспотевший лоб.

— Так оказался я в государственной тюрьме. Хотел бежать, но побег был попросту невозможен. Остригли меня наголо и переодели в драный халат. Долго я не мог привыкнуть к портянкам, которые выдавали вместо носков, и к котам. Да и кандалы досаждали. Товарищи следили за моими подкандалниками. Они всегда у меня были расстегнуты, и цепи больно растирали ноги. Товарищей я частенько вспоминал в этапе: до кости растирал ноги.— Орджоникидзе прищурился.— В крепости нам удалось установить связь с Петровским. Он тогда был депутатом Государственной думы. Замечательный человек! Как-то он переслал нам в крепость статью Ленина. Читал я в камере много. Правильно говорят, что тюрьма — универ-

ситет для революционера.— Орджоникидзе задумался.— Где-то теперь в Сибири Петровский?.. Да, в этапе мне рассказывали: жена Петровского не верила в его депутатскую неприкосновенность. Как-то гуляли они с Петровским по Таврическому саду. Гвардейцы вытягиваются перед депутатом. Да и сам депутат в визитке, в галстук бабочкой. Липы вековые шелестят. Мраморные нимфы, фонтаны журчат. Рай... А жена-то и говорит ему: «Сошлют вас, Гриша. Обязательно сошлют. Я начну ходить на фельдшерские курсы. Придется в Сибири людей лечить...»

Клавдия глянула на часы, всплеснула руками:

— Скоро ночь, а мы вам отдохнуть не даем. Нет-нет, довольно! Завтра соберем ссыльных, вы им все расскажете. А теперь — спать!

### Депутат Государственной думы

— Григорий Иванович, счастлив принять тебя в нашем доме! — Ярославский крепко пожал руку невысокому человеку со смелым энергичным лицом.

— Депутат Государственной думы — не такой уж редкий гость в Сибири. Особливо если его отправляют в решетчатых вагонах, на государственный кошт да еще под охраной молодцов с разбойничьими лицами,— усмехнулся Петровский, распахнув арестантский бушлат и сдвинув на лоб серую бескозырку.— Да, привет тебе, Клавдичка, от Свердлова.

— Видел?

— Нас этапом спускали по Енисею. На высоком берегу деревянная колокольня. Низенькие домишки небольшого селения. Конвойный буркнул: Монастырское. Жутковато показалось. Там и отбывает Свердлов ссылку. Плыли мы в полосе лесного пожара. Огненные искры падали на воду. Из тайги выбегали на берег звери. Вывалился огромный медведь. Шкура его опалена. В красный от огня Енисей бросались белки. Выловил я одну, шкурка намокла, как у крысенка. Распахнул бушлат и засунул за пазуху.

Петровский умолк, отошел к окну, за которым плавали крупные хлопья снега.

...Стоял сентябрь 1916 года. В Якутске наступили первые зимние холода. За окном бушевал ветер. Снег посеребрил крышу приземистого сарая, сверкал на черных ветвях лиственницы, еще не сбросившей длинную оранжевую хвою.

Клавдия не отрывала глаз от Петровского.

Вечерело.

Петровский ушел в комнату Емельяна, и Клавдия услышала, как торопливо и приглушенно начали они разговаривать, боясь потревожить спящую Марьяночку.

И припомнила она тот день, когда в газете с большим опозданием прочла сообщение об аресте большевистской фракции в Государственной думе. Арестовали их в Озерках под Петербургом.

Клавдия задумала бежать из ссылки, сказала об этом Емельяну. Он покачал головой и показал глазами на спящую девочку. Она прижалась к ее раскрасневшемуся личику и горько расплакалась. В газетах писалось о запрещенных изданиях, обнаруженных при обыске «изменника» Петровского, об обильном горячем пепле в камине. Вещественные улики исчислялись пудами! Клавдия сжимала в бессилии кулаки и проклинала самодержавие, общественный строй, при котором каждый честный человек находился под угрозой тюрьмы и казни.

И, наконец, начался суд. Петровский с товарищами по фракции сидел на скамье подсудимых, той самой, на которой выслушивали приговор Перовская и Желябов!

В душе Клавдии ширилась тоска. Страстно ненавидела она царизм. Не раз ее судили, и она понимала, что большее лицедейство, чем царский суд, трудно придумать.

Так Петровский и его товарищи очутились в Сибири, в Туруханском крае. Больше об их судьбе Клавдия ничего не знала. И вот теперь вместе с первым морозом Петровского, бывшего депутата Государственной думы, выдали из якутского острога на поруки Минею Губельману, старосте колонии политических.

Клавдия прислушалась. Конечно, все еще разговаривают.

— Емельян, не терзай гостя! Пельмени готовы!

Петровский первым вошел в комнату. За ним Емельян.

— Да, Клавдичка,— обратился к ней Петровский,— я тебе не рассказал, как встретил нас Яков Михайлович в Монастырском. Непокойным в тот день был Енисей. И вдруг к нашей арестантской барже понеслась лодочка. Ее захлестывали волны, и мы боялись за смельчака. Это был Свердлов. Вот судьба: за Полярным кругом депутата Государственной думы встретил член Центрального Комитета большевистской партии! Якова Михайловича я не видел давно. Арестовали его у меня на квартире в Петербурге. Он тогда бежал из ссылки и скры-

вался с семьей, надеясь на мою депутатскую неприкосновенность. Но кто-то выдал.— Голос Петровского осекся, а глаза нарочито равнодушно рассматривали снег, валивший за окном.

— Яков Михайлович с семьей в Монастырском? — поинтересовалась Клавдия.

— Жена и двое детишек. Жена устроилась на метеорологическую станцию. Жалованье мизерное, но зато полагается домишко. А Яков Михайлович и лекарь, и адвокат, и лесоруб! Домишко их с утра полон людьми. Ночи Яков Михайлович бережет для работы: читает, ведет переписку, посылает статьи в газеты. Первые дни мы жили у них. Веселый человек Яков Михайлович. Петь любит: голосина, как труба, а слуха нет: медведь на ухо наступил. Он, бывало, как загрохочет, так все руками замашут. Как-то пошел в тайгу лес валить. Морозно. Ветрено. Яков Михайлович посмотрел на приунывших товарищей и запел: «Топор, рукавица — рукавица да топор! Мы дрова в лесу рубили — рукавицы позабыли!» Ну, все и рассмеялись.

— Ты ешь, ешь, Григорий Иванович! — просил Ярославский.— Клавдичка великая мастерица пельмени делать! А как попал к нам, в Якутск?

— Да охранка постаралась. В Монастырском долго жить не дали. Нас, депутатов, перебросили в Енисейск. Жандармы там препохабные. Днем и ночью врывались в комнаты, глумились. Бывало, призовут в участок. Пристав — подлец — развалится в кресле и цедит: «Мне-то, собственно говоря, вы не нужны, но я проверяю по должности!..» Как-то такой разгром произвели в комнате при обыске, что мне противно сделалось. Руки не поднимались привести все в порядок. А тут начали голодать. Подрядились деревья валить, а мошкара заедает, проклятая. Спасибо, старожилы научили лицо мазать дегтем... Связался я с ссыльными, привлек местных, начал кружок работать. И вдруг предписание: отправить такого-сякого в Якутскую область. «Почему?» — спрашиваю. Отвечают: «Ввиду доказанной политической неблагонадежности и вредного влияния на население». Перед отправкой зашел проститься к товарищу, — он от чахотки умирал. Посмотрел он на меня долгим взглядом и говорит: «Будь спокоен, товарищ Петровский. Царское правительство скоро провалится, и революция тебя освободит!» Стражник испугался, по дороге все спрашивал: «Неужто революция будет?» — «А как же? — говорю ему. — Непременно будет, братец, помяни мое слово». Ну и рожа у него была! — Петровский усмехнулся.

— Григорий Иванович, любила я в газетах речи твои читать,— мягко заметила Клавдия.

Петровский оживился, хитровато прищурил глаза:

— А меня почему-то все лишали слова. Раз я напомнил депутатам, что Дума явилась результатом первой русской революции и та свобода, которой они пользуются, как враги народа, является ее следствием! — Петровский резко откинулся. — Что тут поднялось! Загалдели, потребовали, чтобы я покинул заседание...

— Покинул? — поинтересовался Ярославский.

— Нет, конечно! Сражались мы до последнего. Начали большевикам думцы обструкцию устраивать. Видите ли, оскорбила их правда! Стучали пюпитрами, кричали, неистовствовали. Родзянко лишил меня слова. Я возмутился и сказал: «Считаю это насилием и решению председателя не подчинюсь!» Родзянко затрясся от ярости, зазвонил колокольчиком, установил тишину: «Ввиду отказа члена Думы Петровского подчиниться — приглашаю господина пристава в течение перерыва применить к депутату указанные законом меры».

— Какие же? — спросила Клавдия.

— Да очень простые. Взяли меня и вывели из зала. — Петровский махнул рукой. — Помню, уезжал я в Петербург из Мариуполя. На проводы собрались рабочие. Вокзал забиг. Взобрался я на ящики и начал говорить, как буду работать в Думе. Ну, и закончил призывом: «Долой самодержавие!» Полиция, видно, через провокатора узнала о митинге: на вокзале ее оказалось в избытке. Всё пытались стащить меня с трибуны. Дежурный дал отправление, паровоз загудел, и пришлось мне выйти из кольца рабочих. Я — к вагону а пристав руку на плечо положил: «Арестован, голубчик!» От ярости я даже покраснел: «Не имеете права. — я лицо неприкосновенное!» И сунул ему под нос думский мандат. У пристава от удивления глаза на лоб вылезли и вид стал идиотский. А я уже с подножки вагона кричал: «Долой самодержавие!»

## **«Комитет общественной безопасности»**

*4 марта 1917 года*

Моя прекрасная девочка! Я только что пришла с митинга. Девочка, мы — твой папа и я — свободные граждане! Вот уже третий день, как мы ликуем, празднуем великий праздник освобождения России от ига самодержавия. Папа твой целые



дни на митингах. Избран членом Временного народного правительства, я тоже. Мы забросили эти дни тебя, но мы тебя не забыли. Так много работы для дела, что мало приходится с тобой разговаривать. Я ходила с тобой каждый день гулять, а этот день, когда мы узнали о свободе, я не видела тебя целый день... Родненькая! Если бы ты могла понять почему... Ты поймешь, узнаешь и скажешь сама, что некогда было маме... Нужна была мама народу в этот день. Как я счастлива, моя девочка!!!

Клавдия отложила перо, захлопнула порывевшую от времени тетрадь и счастливо рассмеялась. Революция пришла и в Якутск.

О революции узнали из телеграммы, присланной Ярославскому. Текст ее был загадочным: «Предстоит большая радость — ждите встречи с матерью». Долго гадали, ничего придумать не могли. А тут, как назло, газеты не поступали. В Иркутске, через который шла связь с Россней, генерал-губернатор фон Пильц не признал, видите ли, революцию в Петербурге. Нет ее и не было!

В городе висели грозные предостережения о всяческих слухах и измышлениях злоумышленников, посягнувших на основной образ правления, и о тех страшных карах и репрессиях, которые будут к оным злоумышленникам применены! Такое распоряжение пришло и в Якутск.

Как-то к ним забежал Петровский. Распахнул дверь в радостном возбуждении:

— Революция в Петербурге! Романовы арестованы! Ура-а-а!

В Якутск, узнав о революции, начали съезжаться политические ссыльные из глухих уголков. Петровский был выбран комиссаром Временного правительства Якутской области. Удивительные начались дни. Клавдия и Емельян почти не бывали дома. Все время на митингах. Вот и сегодня Клавдия, взглянув на часы, заторопилась. Поправила ночник над кроватью, прикрыла девочку одеялом и вышла на цыпочках, захватив бутерброд для Емельяна.

Зал переполнен. Скинув платок и расстегнув пальто, Клавдия уселась в третьем ряду, рядом с рыжим пареньком, приказчиком из лавки Пашки Юшматова. Сам Пашка, разгоряченный и злой, возбужденно переговаривался с отцом Ильинским, хитроватым и грузным священником. Свинцовым облаком ви-

сел махорочный дым. В задних рядах сидели солдаты, зажав между колен лохматые черные папахи. На груди алели красные банты. Сидели беспокойно. Все время слышался их смех и хлесткие словечки, приводившие в ярость «чистую публику» — чиновников и купцов, занимавших первые ряды.

Клавдия увидела в президиуме Ярославского, показала ему бутерброд, завернутый в бумагу. Ярославский рассмеялся и беспомощно развел руки.

Вопросы шли в привычной очередности, и все же Клавдия уловила какое-то скрытое движение, вернее, волнение, царившее в зале. Почему-то здесь оказалось слишком много чиновников. Выделялся Румянцев, из союза служащих правительственных учреждений. Положив ногу на ногу, он после каждого выступления иронически аплодировал. Клавдия не любила его. Когда-то Румянцев был сослан в Якутск. Ссылки он не выдержал и поступил на службу в полицию. Клавдия всегда отворачивалась при встречах с ним. А теперь этот Румянцев громко кричал о своем политическом прошлом, о жертвах, принесенных им на алтарь отечества. Чиновники и конторщики его поддерживали. Клавдия зло посмеивалась: политический лидер выискался!

Румянцев встал со своего места и пошел к президиуму.

— Прошу слова для внеочередного заявления! — потребовал он и повторил: — Для внеочередного заявления!

Ярославский снял пенсне и близорукими глазами рассматривал Румянцева. Гул начал затихать. Клавдия уловила на лицах чиновников любопытство. Длинный и прямой Румянцев поднялся к президиуму. Огляделся.

— Граждане! Я ставлю вопрос о поведении комиссара Петровского, точнее, выражаю ему политическое недоверие!

— Браво! Правильно! — поддержали его в зале. — Недоверие комиссару!

Клавдия обернулась в их сторону и поняла: вот он, скандал, подготовленный чиновным Якутском!

Петровский сидел спокойно. Лишь глаза его сузились да поза стала напряженнее. Орджоникидзе наклонился к Ярославскому. Тот кивнул и забарабанил пальцами по столу.

— Изложите суть вопроса! — каким-то чужим и незнакомым голосом потребовал Ярославский. — Суть вопроса, граждан Румянцев!

— Мы передали комиссару Петровскому резолюцию союза

с требованием освободить от должности Порядина. Гражданин комиссар постановление наше не утвердил. Тем самым комиссар выразил недоверие союзу и нарушил его автономию.— Румянцев подчеркнуто бросил на красное сукно стола бумаги.— Здесь подписи членов союза, протестующих против нарушения автономии!

— О какой автономии союза говорите вы? — Ярославский встал из-за стола.— Скорее, речь идет о корпорации чиновников...

Петровский рассмеялся в пушистые усы. Клавдия одобрительно закивала головой.

— Не понимает ли автономию гражданин Румянцев как неподчинение революционному правительству? — бросил Орджоникидзе.

Румянцев быстро овладел собой и громко, перекрывая гул, сказал:

— Петровский творит произвол! — Румянцев выдержал паузу и отчеканил: — Служащие правительственных учреждений, объединенные в союз, намерены покинуть работу, если Порядин останется на своем месте!

— Значит, саботажем грозите революционному правительству? — надвинулся на него Орджоникидзе.

— Саботажник! — поддержала его Клавдия, вскочив с места.— Саботажник!

— А известно ли гражданину Румянцеву, что в союзе значатся чины полиции и жандармерии? Известно ли, я спрашиваю? — повысил голос Ярославский.— Ходаков в союзе состоит? А он из полиции. Да Ходаков не один. Что же это за профессиональный союз, в который вошли столь «авторитетные» служащие?! И этот союз хочет изгнать мелкого чиновника, распространяя о нем всякие небылицы. Кому требуется увольнение Порядина?

— Неэтично упрекать нас чинами полиции, гражданин Ярославский. Союз опорочить не удастся — в партии также бывали провокаторы.— Румянцев поискал поддержки у чиновников, и те бешено зааплодировали, засвистели.

— В партию провокаторов засылали полиция и охранка, в которой вы, Румянцев, имели удовольствие работать. Кстати, совершенно добровольно.— Орджоникидзе откашлялся.— Когда вызывают к доверию, то на него нужно иметь право. Революционер никогда не станет взывать к полицейскому, получавшему в столь недалеком прошлом тридцать сребреников за предательство.

— Контра! Кончать Румянцева! — закричали солдаты и бросились к президиуму.

Румянцев растерялся, побледнел. Клавдия встала в проходе, пыталась удержать солдат. В президиуме поднялся Петровский, сняв очки в железной оправе, неторопливо их протер, установил тишину.

— Тут Румянцев многое наговорил. Нас словами не испугаешь — пуганые! Не таких краснобаев встречали, и ничего — выдюжили! От меня, как комиссара, потребовали утверждения увольнения Порядина. Видите ли, союз выразил ему недоверие... Я попробовал в этом деле разобраться — и союз мне выразил недоверие.

В зале засмеялись.

Петровский помолчал, посмотрел на солдат:

— Недоверие, да еще политическое! Взывают к этике, говорят о долге. Не мне, революционеру, указывать господам чиновникам на этику. Жизнью я доказал верность революции и от чиновника полиции мораль выслушивать не намерен!

Клавдия засмеялась — чиновники покидали заседание. Румянцев отошел от президиума, остановился, напряженно вслушиваясь в слова Петровского.

— Для Румянцева Порядин — мелкая сошка. Значит, мелкую сошку уволить, а чиновника полиции посадить на его место, благо революция освободила их от работы! Нет, Румянцев! Судьбой человека нужно дорожить. Достаточно нами поиграли! Хотите уволить человека? Хотите исключить его из союза? Докажите, чем этот человек виноват! Доверия к союзу, в который ползут шпики, у меня нет! Да и тебе, Румянцев, не место в комитете общественной безопасности!

В зале возмущенно закричали, застучали стульями, затопали ногами. Клавдия потребовала тишины. Ее поддержал в президиуме Ярославский. Блеснув стеклами пенсне, зло проговорил:

— Не топайте ногами, господа чиновники! Заседание можно покинуть без шума. Вы же не топали ногами, когда барон Тизенгауен нас, революционеров, взявших власть в Якутске, называл кучкой неизвестных проходимцев... Воздержитесь от обструкции в здании революционного учреждения. Да и про саботаж забудьте: не советую шутить с революционным напором!

Клавдия пересела в первый ряд и посмотрела на часы: двенадцать! А еще не слушался вопрос об отделении церкви

от государства. То-то здесь в зале сидит эта лиса — отец Ильинский.

Отец Ильинский поднялся в президиум. Он молитвенно скрестил руки на груди и, потряхивая жиденкой бородашкой, начал фальцетом:

— Нас пугают отделением церкви от государства. Что ж? Духовенство согласно. Все говорят о наших богатствах. Мы знаем лишь бедность и труд.

Клавдия ухмыльнулась. Улыбнулся и Ярославский, поглядывая на сытого розовощекого священника.

— Духовенство не боится отделения церкви от государства. Почему нас упрекают в паразитизме? А мы первые на Руси ввели образование, крестили язычников!

— Мечом и огнем! — крикнула Клавдия. — Тайну исповеди полиции доносили!

— Доносили, гражданочка! Нельзя церковь упрекать за верность царю и престолу. Я верил царю и служил ему. Теперь иное время. Я верю революционному правительству и буду ему служить не за страх, а за совесть.

— Нет уж, нам служить не нужно! Обойдемся без попов! — Орджоникидзе зло сплюнул. — Поп хуже жандарма. Жандарма сразу видишь. Поп охмуряет ласковыми словами. Когда революционеров вешали, без попов не обходилось!

— Да, мы — духовные лица — не можем себя считать передовыми гражданами! — скромно опустил глаза отец Ильинский. — Виновники новой жизни — те, кто лежит на кладбище под могильными плитами. И мы на их могилы возложим терновые венки!

— Поп, не смей трогать могилы борцов революции! — Орджоникидзе весь дрожал от негодования. — Не грязни святую память!

— Виновники новой жизни — те, кто был на каторгах и ссылках Сибири! Раньше духовенство служило царю-тирану, а теперь духовенство возносит молитвы за народное правительство! — Отец Ильинский воздел руки.

— Пфу, какая-то чертовщина! — Орджоникидзе стукнул кулаком по столу.

— Путь пастыря — это скорбный путь! Я говорю открыто и одобрения своим словам в ваших душах не ищу!

И тут свершилось непредвиденное. Орджоникидзе попросту сбросил попа в зал. Сбросил и сел. Ярославский подал ему стакан воды. Клавдия хохотала до слез.

Так закончилось заседание «Комитета общественной безопасности».

Шумела весна 1917 года в Якутске. Весна бурная, расцвеченная кумачовыми полотнищами и революционными декретами. С робкой зеленовато-голубой дымкой, появившейся над тайгой, Клавдия начала собираться в дорогу. Ждала навигации...

И наконец наступил день, когда вскрылась Лена. Клавдия стояла на пристани, крепко держала за руку девочку и смотрела на реку. С первым парходом колония политических ссыльных покинула Якутск. Позади осталась ссылка. Позади остался Якутск!





## НАДЕЖДИНСК

### Посланец ЦК

Тревожно переливались хриплые гудки Надеждинского завода. К Народному дому, небольшому деревянному зданию, в котором происходили городские митинги и собрания, собирались жители Надеждинска.

День выдался пасмурный, над крышами домишек ветви деревьев сливались с серым небом. Словно фонарь в тумане, светило солнце.

Осторожно придерживаясь за покрытый изморозью забор, к Народному дому шла Клавдия Ивановна Кирсанова. Раскаставшись по льду, проносились с криком и гиком пареньки в засаленных тужурках и приплюснутых кепочках. Рабочие из снарядного цеха. В большой оленьей дохе торопился Постников, управляющий заводом. На его бритом худощавом лице с тонким хищным носом Клавдия Ивановна уловила обычное пренебрежение. Он почти не отвечал на поклоны рабочих, шел мелкими шажками, старательно выбирая места, припорошенные снегом. За ним гуськом — инженеры, мастера.

Глухо ударил колокол на соборе Спасо-Преображения. Собор стоял на самом высоком месте в городе и хорошо был виден. Громоздкий. Недостроенный. «Отец Африкан старается отвлечь рабочих от Народного дома! — сердито подумала Клавдия Ивановна. — Ишь какой звон затеял. Наверняка с проповедью выступит против большевиков». В городе нет довольствия. Торговцы заперли лавки. На заводе перестали платить рабочим. Пора, пора брать завод в свои руки. Ишь хозяева телохранителей-ингушей завели. Боятся рабочих, боятся после убийства Прахова в 1907 году... Тогда Александр Лбов приезжал в Надеждинск. Только это был уже не тот отряд, который знала Клавдия. Отряд отошел от пермского комитета и занялся террором. Жертвой такого террора был и Прахов. Правда, бесчинствовал он на заводе безобразно. Народ ненавидел его. Стрелял в Прахова, тогдашнего директора Надеждинского завода, Ипполит Фокин. Стрелял в упор. Прахов ждал покушения, и у него под костюмом была тонкая стальная кольчуга. Только от смерти она не спасла... Какие тогда репрессии начались на заводе! В город прислали солдат, начались аресты, заводоуправление объявило локаут. Странно, что Лбов так и не понял, что террором изменить общественный строй невозможно... В те печальные дни обнесли «Загородку», где стояли дома администрации, высокой стеной да на охрану ингушей пригласили. Лбов покинул город. Таким и запомнили его старожилы: высоким, плечистым, в рыжем поповском подряснике и широкополой шляпе, скрывающей лицо... Да, тяжелые времена... А теперь вот опять локаутом угрожают рабочим. Локаут страшен — завод замрет, страна не получит металл, семьи рабочих насидятся голодными.

Локаут! Локаут! Локаут, который начался по всей России. Заводчики и фабриканты голодом хотят задушить народную власть. Вчера в Совете объявили, что нет денег рабочим. Врут, нагло врут. Инженерам и мастерам деньги поступают исправно, а рабочим третий месяц ни копейки! Последнее тряпье приходится нести купцам Шутовым, Шадриным, Бурдаковым... Те все берут: счастливы на слезах народных нажиться. Правление Богословского горного округа, куда входит Надеждинский завод, объявило Советам войну... Решения Советов не выполняются, рабочий контроль до сих пор не установлен. И Клавдия Ивановна вновь упрекнула себя. Действовать нужно, действовать! Сразу следовало взять завод под контроль рабочих, да побоялись. Специалистов своих нет, а мастера и инженеры отлынивают, мерзавцы. Надеждинцы, устав от борьбы с за-



водчиками, послали ходоков в Петроград. Только прошел уже третий месяц — срок не малый, а от ходоков ни слуху ни духу...

В Народном доме было людно. В первых рядах сидела заводская администрация, те немногие, кто не успел еще бежать из города. Мелькали фронтовики в потрепанных, помятых шинелях. На солдатских папахах — яркие ленты, на груди — банты. Толпились рабочие в полушубках, в тяжелых сапогах. У большинства запачканные копотью лица, перемазанные мазутом руки — пришли сразу с завода, бросив работу по гудку. Переливались золотом пуговицы на бушлатах моряков. Лузгали семечки женщины, опутив цветастые полушалки на воротники пальто. Тускло мигали красноватые лампы.

Народный дом был построен рабочими на трудовые копейки, собранные по подписным листам. Купили у хозяина завода старую бочарную мастерскую, разобрали ее по бревнышку и перевезли в город на площадь рядом с заводом. Строили Народный дом по праздникам. Дом получился просторный. Только бревна от времени почернели. Пришлось обшить стены тесом да побелить известкой. Соорудили нехитрую сцену с ямой для оркестра, поставили стулья, скамьи.

Она села рядом с Кузнецовым, рослым голубоглазым блондином. Кузнецов громко переговаривался с рабочими мартековского цеха. Клавдия Ивановна молчала, занятая своими раздумьями. С Кузнецовым познакомилась она сразу по приезде в Надеждинск.

Он тогда вернулся на завод после фронта. Работал каменщиком в прессовых мастерских, вступил в партию, стал членом Совета. Рабочие его любили, да и Клавдия Ивановна его отличала. Юношеских сил его хватало на все. Вот только очень горяч. Помнится, как однажды Кузнецов присутствовал при ее разговоре с эсерами. Ночью прошли обыски среди эсеров, отобрали оружие. Вот эсеры и пришли ругаться к ней в Совет. Клавдия Ивановна и ответить-то толком не успела, как Кузнецов подскочил и ударил по лицу какого-то лавочника, имеющего себя эсером. Еле управилась с ним, а потом наедине долго отчитывала: «Ну зачем кулаки, Дмитрий! Надо сдерживаться...» Он стоял красный, смущенный, беспомощно опустив пудовые кулачищи. Да вот хоть третьего дня: прибежал окровавленный в Совет и давай с порога кричать: «Оружие! Оружие нужно!» Она испугалась. «Что произошло? Что?» В глазах Кузнецова ярость, голос дрожит. Ворот порван, в одном пиджачишке прибежал, а на дворе мороз. Значит, прямо с заво-

да... А Кузнецов знай свое: «Оружие нужно! Оружие!» Оказывается — что же? Выступал он на митинге в снарядной. Там мастер возводил напраслину на Ленина. Кузнецов столкнул мастера, взобрался на стальную муфту, овладел, значит, трибуной и начал говорить. Только не заметил, как кто-то саданул его сзади тяжелой снарядной головкой. «Аж круги оранжевые заходили перед глазами. Наступила слабость, тошнота... А тут дружки полезли с кулаками и начали меня мутузить. Одноглазый инженер стоит у конторки и смотрит. Контра, как есть контра! Облокотился на деревянные перильца, цедит сквозь зубы: «Так его, так! Хорошенько отделайте большевичка!» А те, бараны, и мутужат меня! Как же стерпеть такое?! Свой брат, рабочий, мутужит! А? Нет, стрелять! Стрелять нужно... Давай, комиссар, оружие!» Она пододвинула ему стул, налила в стакан воды и села за стол. Посмотрела на его крупную, коротко стриженную голову. Спросила, растягивая слова: «В кого стрелять-то собрался?» Кузнецов сверкнул глазами: «Как — в кого? В них, сволочей! Разве не ясно?!» — «Хорош агитатор! Значит, стрелять будешь в рабочих? Что ж, убедить не сумел — так стреляй! — Клавдия Ивановна открыла ящик стола и достала блокнот. — Ладно. Дам тебе бумагу — получи оружие... А то как же пойдешь в цех без маузера?!» Кузнецов растерялся. Откашлялся: «Так это же я так, в сердцах! Зачем мне оружие — обойдемся!» Клавдия Ивановна рассмеялась: «Вот и я думаю — обойдемся! Иди умойся и митинг доведи до конца... Слова-то найди попроще. Парень ты хороший, народ тебя уважает...»

Кирсанова поднялась на сцену: собрание поручили вести ей. Она оправила белый воротничок на шерстяном платье, отодвинула графин с водой, подняла руку, пытливо оглядывая собравшихся. Предстоял последний разговор с заводской администрацией. Предстоял разговор, от которого зависела судьба людей. Честно говоря, она не надеялась на этот разговор. Но Постников для большинства сидящих в зале олицетворял хозяина, и они верили, что именно от него зависит их судьба. Она решила дать ему высказаться.

— Гражданин Постников, что вы можете сказать народу? Будет ли работать завод? И когда рабочие получают деньги?

Постников, циркулем ставя негнущиеся ноги, взошел на сцену. Серые глаза его выдержали взгляд Кирсановой. Он сказал резким, срывающимся голосом:

— Богословское горное общество поручило мне объявить условия, на которых оно согласно продолжать работу Надеж-

динского завода. Первое, и главное... — Он помедлил. И повторил: — Главное — устранение всякого вмешательства рабочих в управление предприятием!

В задних рядах послышался свист. Рабочие вскочили, зашумели. Кузнецов, сложив свои огромные ладони рупором, гаркнул:

— Доло-ой!

— Контра-а-а!

— Доло-о-о-ой!

— Установите тишину у товарищей, — с откровенной издевкой потребовал Постников от Кирсановой.

Постников не договорил. Холодный взгляд Кирсановой остановил его. Постников давно стал нетерпим: груб, заносчив. Она ссорилась с ним на заседаниях Совдепа, куда его призывали. Он мешал установить рабочий контроль, он не допускал представителей Совдепа на завод, а сейчас, заручившись поддержкой из Петрограда, совсем обнаглел. «Подлец. Живет не человеком — умрет не покойником!» — зло подумала она.

Постников пренебрежительно скривил рот и продолжал невозмутимо стоять на сцене. Руки его, белые и холеные, размеренно протирали стекла пенсне.

Клавдия Ивановна, позвонив в колокольчик, призвала к тишине.

— Продолжайте, гражданин, — ровным голосом сказала она.

Постников насмешливо поклонился в ее сторону. Помолчал и так же резко потребовал:

— Почта и телеграф должны остаться в полной независимости от общественных организаций. — И, уловив враждебность зала, добавил: — Обязательное условие Богословского горного общества — неприкосновенность личности инженерного персонала! В случае отклонения этих требований сегодняшним собранием подтверждаю, что Богословское горное общество вынуждено будет завод закрыть и производство прекратить!

В зале наступила мертвая тишина. Клавдия Ивановна видела, как низко опустил голову сидевший во втором ряду старик с черной окладистой бородой, как всплеснула руками женщина с грудным ребенком.

— Дорогу! Дорогу! — прокричал могучим басом Кузнецов, раздвигая широким плечом сгрудившихся у сцены людей. — Курлынин возвратился от Ленина.

— Ура! Ура! — загрохотал зал.

Клавдия Ивановна просияла от удовольствия. Глаза ее заискрились, лицо помолодело. Высоко подняла руки и бешено зааплодировала. «Вернулись! Вернулись! — ликовала она.— Именно сегодня. Славно, очень славно!»

Кузнецов, счастливый и смеющийся, подсаживал Курлынина на сцену. Стараясь не глядеть на нее, чувствительно подтолкнул Постникова, оторопевшего от неожиданности, а потом стащил его за полу дохи со сцены. Клавдия Ивановна смеялась, прикрыв глаза рукой.

Курлынин, уставший и притихший от такой встречи, смущенно переминался на сцене. Он стоял в солдатской шинели, с неизменной котомкой за плечами. Временами кланялся, тихонько переговаривался с Кузнецовым. Зал грохотал, содрогался от радостных криков и приветствий. С трудом удалось установить тишину Кирсановой. Колокольчик тонул в этом гуле.

— Расскажи народу все... С чем приехал? — попросила Клавдия Ивановна и мягко прибавила: — Ленина видел?

— Революционный Петроград передает надеждинцам пролетарский привет. Владимир Ильич здоров! — Курлынин откашлялся и покосился на Кирсанову.

— Ура товарищу Ленину!

Зал загрохотал. Курлынин беспомощно оглядывался по сторонам. Многие добродушно посмеивались, знали: Курлынин говорить много не любил. Но вот он снял с плеча котомку, положил ее на красную скатерть. Пригладил заскорузлыми пальцами ежик стриженных волос, откашлялся в кулак:

— Ходили мы с Андреевым по Петрограду — искали управу на правление. Ходили долго, а толку нет. Задумали тогда мы обо всем рассказать товарищу Ленину. Достали лист графленой бумаги и долго спорили, кому писать. Решили, что напишет тот, у кого почерк лучше. Андреев уговаривал меня. Грамотей-то я плохой. Правда, карандаш отточил, а писать побоялся. Пришлось Андрееву. Написали мы с ним все начистоту: и как деньги не выдают, и как работать мешают, и как саботажем грозят. Ничего не утаили от товарища Ленина. Поглядели. Некрасиво. Буквы корявые, разъезжаются в разные стороны. «Переписать нужно!» — сказал я Андрееву. «Правильно. Нужно. Только у меня руки от непривычки трясутся. Сам, говорит, переписывай! Я слесарь, а не писарь!» — рассердился он. Только я руками замахал: «Да мне лучше камни таскать, чем писать. Товарищ Ленин и букв-то моих не поймет. Пусть уж так остается».

Поглядели мы на бумагу, вздохнули и решили отправить так. Понесли письмо в Смольный. Холодно в Петрограде. Ветер леденящий. У Смольного костры горят. Матросы у входа с винтовками. Часовой отправил нас к Горбунову, управляющему делами Совнаркома. Коридоры в Смольном просторные, а тесно. Народу много. Все спешат, торопятся. Показали нам Горбунова. Он как раз по лестнице спускался после совещания. Мы к нему. Рассказали все. Слушал внимательно, спокойно. Обстоятельный, видный мужчина. Попросил бумагу. Повернулся к свету, стал читать. Положил бумагу в папку и сказал с укором:

«А карандашом-то зачем написали? Трудно придется Ильичу разбирать!.. Ну ничего. Приходите завтра и ждите внизу в столовой. Договоримся, что дальше делать. Да, получите там чай с сахарином... Про паек не забудьте, вы командированные».

Наутро пошли мы пораньше. Горбунов человек занятой. Может и позабыть. Стали внизу у лестницы, как на пост. Андреев смотрит в левую сторону, а я — в правую. Народ рекой течет. Глаза разбегаются: матросы, солдаты, рабочие, ходоки из деревень. У каждого в руках то винтовка, то котелок, то котомка. Каждый товарища Ленина спрашивает. Вижу, на площадке у мраморных перил стоит Горбунов со своей папкой. Помахал рукой, подозвал нас:

«Где же вы? Я обыскался вас в столовой!»

Неловко получилось, — замялся Курлынин, — пришлось сказать: «Побоялись мы, что позабудешь про нас. Вот и решили на лестнице дежурить... Уж тут-то не пропустим!»

Горбунов засмеялся:

«Хитры. Так вот что, товарищи, вас примет Владимир Ильич. Я доложил ему, и он заинтересовался, хочет потолковать с уральцами. Пройдите в комендатуру, получите пропуск. Примет через два дня».

Сильно волновались до встречи с Владимиром Ильичем. Всюду на улицах висят декреты Советской власти. Сумеем ли объяснить все толком?! Ночи не спали. А утром пришли в Смольный, в приемную к Ильичу. Удивительная это комната: стены выбелены известкой, у входа стоит дубовый стол и шесть табуреток... Только телефоны гудят, как жуки, да непрерывно стучит пишущая машинка, как кузнечик. Тут к нам подошел Горбунов, поздоровался за руку и сказал:

«Ждите, к вам скоро товарищ Ленин выйдет...»

Портретов Ленина мы не видали. Представляли его могу-

чим мужчиной, с бородой, как у Карла Маркса. И вдруг вышел человек среднего роста, широкоплечий. Глаза карие с прищуром. Проницательные. Лоб высокий, открытый. Быстро подошел к нам, протянул руку и, чуть картавя, сказал:

«Здравствуйте, товарищи. Садитесь и рассказывайте».

Переглянулись мы с Андреевым... Уж очень-то прост. Пиджак на нем обыкновенный, штиблеты чуток стоптаны. Смотрит на нас дружелюбно, а у глаз морщины: забот-то много. Слушал нас внимательно, подперев рукой голову, а потом сказал:

«Читал я вашу записку. Жаль, что вы здесь сидите, — дома дела ждут. Теперь наша власть, власть рабочих и крестьян... Работать за нас некому. — Помолчал и переспросил: — Значит, правление горного округа мешает заводу... А вы арестовали членов этого правления, безусловных саботажников?»

«Нет, Владимир Ильич! Не решились».

«Плохо, очень плохо! Разве можно так поступать при диктатуре пролетариата? Врагов и саботажников жалеть нельзя! А как дела на заводе?»

Долго рассказывали мы Владимиру Ильичу, как завод работает, как думаем наладить мирное производство, какую продукцию выпускаем.

Выслушал Ильич, как и раньше, внимательно, а потом сказал:

«Хорошо! Берите завод в свои руки... Берите и не медлите. Да-да! А с правлением Богословского горного общества поможем вам справиться. И верьте мне, не так страшен черт, как его малюют... Не беспокойтесь. Подождите денек в Петрограде, мы опубликуем в газете постановление, и домой за работу!...»

Курлынин вытер ладонью пот с крупного лица. Оглядел зал из-под нависших бровей. В зале застыла тишина. Глаза всех неотрывно следили за рассказчиком. Курлынин расстегнул шинель, засунул руку за пазуху и вытащил пакет, старательно закутанный в платок. Надел старенькие очки в железной оправе и, развернув бумагу, прочитал:

— «Ввиду отказа заводууправления Акционерного общества Богословского горного округа подчиниться декрету Совета Народных Комиссаров о введении рабочего контроля над производством, Совет Народных Комиссаров постановил конфисковать все имущество Акционерного общества Богословского горного округа, в чем бы это имущество ни состояло, и объявить его собственностью Российской Республики».

Весь служебный и технический персонал обязан оставаться на местах и исполнять свои обязанности.

За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы Революционному Суду...»

Дочитать декрет Курлынину не дали. Зал загрохотал так оглушительно, что задрожал графин с водой на столе у Кирсановой. Рабочие вбежали на сцену, подхватили ходока на руки и начали качать. В воздух летели шапки, засаленные кепки.

Кузнецов вынес на сцену красное знамя.

— Ура товарищу Ленину! — поднялась Клавдия Ивановна.

— Ура! Ура! Ура!

Надеждинский завод стал собственностью государства.

Вечером ей передали письмо. Письмо от Емельяна. Она подкрутила фитиль в лампе, боясь разбудить детей, и стала читать:

Деточка моя, родненькая, любимая Клавдичка!

...Ни одной строки нет от тебя, и я ничего о тебе не знаю. Если б ты знала, как душа тоскует по тебе и Марьянке! Все думаю, как устроиться на лето, но пока ничего не придумал. На днях поеду в Лосиноостровское и выясню, можно ли будет обеспечить там хлеб, молоко, квартиру и дрова. Если можно, то я попытаюсь поехать к тебе и перетяну вас сюда, хотя и сознаю, что надо и в Надеждинске работать.

Кое-что о твоей работе узнал случайно. Я вчера приехал из Ярославля. Ехал оттуда утомленный после трех совершенно бессонных ночей. Всю ночь провел, согнутый в три погибели, на диване с двумя барышнями. Утром одна из пассажирок второго этажа встала и пошла умываться. Я решил хоть на время взобраться на койку и вздремнуть, мочи не было томиться.

Только успел взобраться и положить голову на койку, как с соседней койки поднимается рыжая голова и кричит: «Сейчас же сойдите! Нахал! Как вы смеете залезать на чужую постель». Я говорю: «Не сойду!» Тогда рыжая борода заявила: «Я вас стащу силою»,—и направляется ко мне. Спорить, драться?

Я сошел с койки, наговорил ему много горьких вещей. Он, по-видимому, понял, как некрасиво он поступил, стал предлагать мне свою; я заявил, что не воспользуюсь его великодушием, и решил до Москвы доехать не спавши. Потом слышу: сидит этот человек рыжий и разговаривает с женщиной в кожаной куртке и сибирской меховой шапке с длинными ушами и еще одним. Не то левые эсеры, не то большевики. Потом, слышу, говорят об Урале, о Надеждинске. Я осторожно навел их разговор о тебе. Заметив, что я знаю тебя, рыжий человек говорит: «Да она хотела кому-то послать какую-то посылочку и письмо, но не принесла». Каково же было к концу смущение этого рыжего человека, когда он узнал, что это ко мне относилось?!

Целую тебя, девочка моя, родненькая. Люблю тебя крепко. Оживают воспоминания: какие больные, какие радостные. Все, все оживает, и без тебя — тоска.

*Твой Миней.*

Марианночку и малютку поцелуй за меня нежно, крепко.

## Тяжелые дни

Ранним утром Клавдия Ивановна выходила из калитки деревянного дома.

На зимнем небе проглядывали тусклые звезды. Мела поземка, и колючий снег бил по лицу. Вдоль улицы, гордо названной проспектом, белели деревянные домишки, задавленные палисадниками и заборами с высокими тесовыми воротами. Над воротами деревянным кружевом навесы. Морозный воздух дрожал от собачьего хриплого лая. «Очевидно, нигде нет такого количества собак и заборов, как в Надеждинске, — улыбаясь, подумала Клавдия Ивановна. — Любо-дорого смотреть, как изгородили улицу».

Черной громадой, сливаясь с ранними сумерками, темнели трубы металлургического завода. Равномерно и натруженно гудели мартены. Завод скрежетал, вздыхал.

Клавдия Ивановна остановилась, захваченная феерическим зрелищем. Каждое утро она подолгу простаивала у заводских ворот.

В зареве огня, попыхивая, ползли крошечные шлаковозы. Ярким всполохом, красоту которого можно сравнить с северным сиянием, дрожало зарево над мартенами. Начался выпуск металла, и каскады малиновых и кроваво-красных брызг повисли в воздухе. Временами они затихали. В черной выси гигантскими голубыми свечами светились доменные печи. Слышался густой режущий звук железа, лязг богатырских металлических челюстей. Завод давал республике металл!

Все ширилось феерическое зарево над заводом, красноватый отсвет падал на заснеженную мостовую, на заваленные снежными шапками дома, на снежные завалы.

Надеждинск, маленький городок на Северном Урале, с его пронумерованными линиями-улицами, с общежитиями-казармами для рабочих, с глухой тайгой, подступавшей к самому городу, стал дорог ей.

Звонко похрустывал снежок под ногами, морозец начинал прихватывать. Только Клавдия Ивановна не торопилась: в эти редкие свободные минуты, когда город спал, она любила



побыть в одиночестве. И, как всегда, она тосковала о детях, увезенных от нее за тысячи верст, о муже, которого революция бросала из города в город. Тогда после Якутска детей своих, а их было уже двое, она привезла в Надеждинск. Сил не хватало расстаться с ними.

Но события развернулись столь стремительно, что детей пришлось отправить к матери в Муром. Увозил их Емельян, увозил хмурым утром. Клавдия Ивановна закутала Марианночку шерстяным платком и долго целовала ее испуганные карие глазки. Емельян неумело держал на руках двухмесячную Риту, крошечную, беспомощную. В глазах его Клавдия Ивановна уловила растерянность. Горько кричал паровоз. Она поцеловала холодную щеку мужа, поправила одеяльце Риты. Вновь прижала Марианну к груди и невероятным усилием воли заставила себя улыбнуться. Емельян смотрел на нее большими серыми глазами и одобряюще гладил по руке. «Так нужно. Тебе здесь с ними не справиться — дела захлестнут. Да и им лучше будет у бабушки. Крепись, родная!» Всего и сказал лишь — и она крепилась. Только когда поезд качнуло и, подпрыгивая на рельсах, побежал вагон, когда в окне мелькнуло встревоженное лицо мужа и серый платок Марианночки, она почувствовала, что смертельно устала, так устала, что не может стоять. Она прислонилась к березе и долго глядела на красные огоньки последнего вагона. Глаза ее застилали слезы. Она вытирала их жестким концом платка. Огоньки скрылись за поворотом. Ее охватило мучительное одиночество. Зубы стиснулись, рот судорожно искривился, она глухо и безутешно зарыдала. Одиночество не оставляло ее и дома. Жила она у сестры, в доме напротив завода. За эти ночи после отъезда детей исстрадалась. На щеках и высоком лбу прорезались морщины, глаза запали. Спасала только работа. Надеждинск бурлил. Приходилось сутками не выходить из Совета. «Где же тут ухаживать за детьми?!» Но тоска по детям не оставляла ее. «Как там?! Все ли благополучно? Не заболела ли меньшая?.. Уж очень слабенькая... Справляется ли бабка с таким шумным народом?» Товарищей, уезжавших в центр, она просила провести детишек, передать кусок мыла, пачку чая... Больше нечего.

Вчера вернулся из Мурома товарищ. Рассказал, что у Марианночки коклюш! Извелась девочка, одни глазенки остались. Клавдия послала им два фунта муки — все, что удалось сэкономить от пайка! Да разве этим прокормишь детишек?! Голод надвигается.

И она вновь погрузилась в заботы. В городе с каждым днем все тревожнее. Колчак наступает. Во Владивостоке высадились японские и английские войска. Урал защищается, но трудно, ох как трудно! Падают города, в них сейчас же восстанавливается частная собственность. Помещики и заводчики только того и ждут. Под угрозой все, что дорого, все, ради чего прожиты годы в подполье и тюрьмах, в каторге и ссылке. И от этих раздумий у Клавдии болезненно сжималось сердце. Нет! Советскую власть они будут защищать до последнего вздоха.

Клавдия потуже затянула платок и прибавила шаг. Тускло светилась окнами двухэтажная деревянная гостиница. Здесь находился Совет рабочих депутатов — Совдеп.

Широкая отлогая лестница, припорошенная снежком, привела ее к двустворчатой двери, обитой зеленой клеенкой. В прихожей, к своему удивлению, увидела Кузнецова. Подняв воротник пальто, он спал, привалившись к скамье и надвинув ушанку на глаза. Руки его держали винтовку, зажатую меж колен. Тихо потрескивали еловые шишки в круглой голландской печи, редкие искорки падали на железные квадраты, прибитые к полу.

Стараясь не разбудить Кузнецова, Клавдия тихонько подошла к крутой лестнице, ведущей на второй этаж, в ее рабочую комнату. Встрепенувшись, Кузнецов виновато вскочил, ударив прикладом винтовки о ножку скамьи.

— Здравствуй, Дмитрий! — мягко сказала Клавдия Ивановна, перегнувшись через шаткие перила. — Почему на ночь остался в Совете?

Кузнецов, зябко поеживаясь со сна, начал подниматься по лестнице. Винтовку он перекинул через плечо. Глаза его сонно поглядывали на Кирсанову. Под тяжелыми шагами заскрипели ступени.

Комната была угловой. Из больших окон хорошо виден завод, окутанный оранжевым пламенем. В простенках старинные стулья с резными спинками, изъеденные жучками. В большой кадке разбросал глянec листьев фикус. Окурки, словно ржавые гвозди, торчали в земле рядом с красноватыми отростками. В комнате царил беспорядок. Столы были сдвинуты на середину, а зажатый окнами угол завален плотными желтыми пачками.

— Что это? — кивнула Клавдия Ивановна.

— Да деньги! — с унылым равнодушием ответил Кузнецов, простуженно кашлянув. — Ночью их таскали из типографии. Вот и пришлось охранять.

Деньги! Клавдия Ивановна взяла пачку, положила ее на стол. Раскрыла, сорвала сургуч. Деньги были напечатаны на цветной бумаге и напоминали визитные карточки. Конечно, выпуск денежных бон в Надеждинске, выпуск, разрешенный Совдепом,—это крайность. Клавдия Ивановна хорошо это понимала. Крайность, оправданная революцией. Надеждинские купцы и лавочники — все эти шутовы, шадрины, бутакоты,—желая нарушить торговлю и экономику города, изъяли деньги из обращения. Начались темные махинации и спекуляции. А кто от этого страдает? Рабочие!

Уже не первый год заводууправление выдавало им получку не деньгами, а марками: овальными кружками из плотной бумаги. Марки приравнивались к деньгам и в заводской лавке обменивались на товары. Но нужных товаров, как правило, в лавке не было. Марки вновь за бесценку обменивались в городе на деньги, на которые можно было купить товары у купцов. Так возник еще один способ, позволявший обесценить реальную зарплату. Существовала даже своеобразная такса, по которой происходил пересчет марок на деньги. Часто марки «перетапливались», иными словами, менялись на четверть водки. И опять заводскому начальству барыш! Как-то Клавдия Ивановна, копаясь в делах управы, нашла любопытный документ. Отец Африкан отправлял в Петербург ходатайство об учреждении в городе «Общества трезвости». Четкими круглыми буквами он писал: «Водка вошла в обиход народной жизни: пьют с радости, пьют в праздники, пьют в будни, пьют с устатка, пьют в свободное время, пьют на крестинах, пьют на свадьбах, пьют на похоронах, пьют на именинах...» Отец Африкан заботился о церковных доходах, поэтому и писал в столицу. Но бумага эта заставила о многом призадуматься Клавдию Ивановну. Действительно, город залит вином. Пивная лавка Александрова, винная лавка Гребенькова, пивной склад Поклевского-Козели, да разве всех перечислишь?!

И Клавдии Ивановне припомнилось скорбное ожидание в дни получек жен и детишек у проходной. Страшное зрелище!

И вот теперь отпечатаны советские боны, обязательные для приема во всех магазинах города. Конечно, мера крайняя. Боны будут в обращении, пока посланцы из Петрограда не привезут деньги. Тогда Совдеп рассчитается с рабочими, а боны будут заменены на единые для всей республики денежные знаки...

Клавдия Ивановна перебирала новые деньги, разноцветные,

хрустящие. Обмакнула перо в чернильницу и начала их под-  
писывать.

— Придется тебе, Кузнецов, еще здесь постоять на карау-  
ле! — Она указала глазами на угол.

Кузнецов, окончательно проснувшийся, кивнул головой.  
В окно светило солнце.

Клавдия Ивановна, не любившая работать при электриче-  
ском свете, выключила лампочку.

Начался новый день. Подойдя к телефону, Кирсанова ста-  
ла крутить ручку, вызывая финансистов в Совдеп. Выдача бон  
рабочим подготовлена.

Клавдия Ивановна разложила на столе десятиверстку.  
Еще раз просмотрела сводку с Восточного фронта. Смерила  
циркулем расстояние от Екатеринбурга до Надеждинска. Ма-  
ло, очень мало! Вчера, 25 июля 1918 года, пал Екатеринбург.  
Теперь расстояние измеряется 386 верстами.

Клавдия Ивановна до боли сжала виски руками. Вновь  
склонилась над картой. Фронт все ближе подходит к Надеж-  
динску. Железнодорожные пути нескольких городов и районов,  
как лучи, сходятся у станции, она приобретает важное страте-  
гическое значение. Положение в городе такое тяжелое. Вчера  
она докладывала в Совете: продовольствие кончается. У лавок  
длинные очереди. Женщины, дети, старики часами стоят за  
хлебом. С трудом удалось раздобыть пятнадцать вагонов с  
зерном, но они не дошли, затерялись где-то в общем хаосе и  
неразберихе. Клавдия Ивановна послала на розыск рабочий  
отряд, но и он пропал. К счастью, удалось отбить две тысячи  
пудов риса, но разве этим накормишь город. Ввели карточки,  
но Совдепу с каждым днем все труднее обеспечить эту скуд-  
ную норму. Спекуляция, черный рынок.

В городе появились налетчики и хулиганы, оживились все,  
кто недоволен Советской властью. Вечерами по улицам стало  
опасно ходить. Ей подбрасывают гаденькие анонимные пись-  
ма. Грозят, запугивают. Нужно этой же ночью устроить обла-  
ву на бандитов в районе Черной реки.

Клавдия Ивановна открыла блокнот, записала: «Выслать  
из города спекулянтов... Устроить облаву... Пролетарским  
открытым судом судить бандитов...»

В дверях показался молоденький дежурный по Совдепу.  
Черноволосый, синеглазый:

— На прямом проводе Верхотурье!

Клавдия Ивановна заторопилась в аппаратную. Дежур-  
ный сидел в наушниках и выжидательно поглядывал.

— Запросите положение дел! — приказала она.  
Раздались прерывистые сигналы, и лента, словно клубок, начала разматываться.

Сообщаю для сведения. На город налетели контрреволюционеры. Заняли посты, телеграф, телефон... Пытались разогнать Совет. Вооружены пулеметами. Началась перестрелка. Имеются убитые и раненые. Поставлены под ружье все коммунисты города. Выезжайте первым поездом...

Аппарат замолк. Лента, как змея, свернулась в клубок, притаилась. «Мятеж в Верхотурье! Это же совсем рядом, девяносто четыре версты...»

С шумом распахнулась дверь. На пороге возбужденные, покрасневшие женщины. Впереди всех молодка, крепкая, настырная. Чуть припухшие веки. На подбородке ямочка.

— А ну, комиссарша, скажи, когда наши мужики будут дома?! — зло прокричала она.

— Хватит... Насиделись без мужиков!.. Сыты войной! — поддержала ее высокая сутулая старуха, расстегивая плюшевый потертый салоп.

— Бей ее! — истошно прокричал кто-то сзади.

Краска ударила Клавдии в лицо. Дежурный резко шагнул вперед, пытаясь закрыть ее собой. Она взглянула на его встревоженное лицо, отстранила:

— Бить успеете! Проходите в комнату — потолкуем!

— Зайдем, бабоньки, раз приглашают! — озорно сверкнула черными глазами молодка.

— Бей! Бей ее, сволочь!

Лицо Клавдии Ивановны посуровело. На тонкой переносице означилась резкая морщина, глаза сузились. Сдержав себя, ответила насмешливо, приподняв брови:

— Надеждинские бабы хвацки — семеро одной не боятся. А двадцать на двадцать рады драться, а тридцать на тридцать рады убиться. Так, что ли?

Все засмеялись, и громче всех бедовая молодка. Клавдия Ивановна придвинула стулья.

— Хотите узнать, скоро ли ваши мужья вернутся домой? — испытующе поглядела она на женщин. — Скажу честно — не скоро! Да и как они могут вернуться, когда идет война. Ведь война, гражданочки! Настало тяжелое время. Белые на Урале, к нам идут. Хлеба нет! Советскую власть надо защищать. Революцию надо защищать. Кто же это будет делать? Мы с вами. Больше некому. Наши мужья и братья.



В дверь то и дело заглядывали рабочие в кожанках, опоясанные патронными лентами. Обращались к Кирсановой. Она деловито и спокойно давала распоряжения. Сама комиссарша выглядела усталой. Под глазами темные круги, лицо исхудало от недоедания. Кожаная куртка болталась на ней, словно с чужого плеча. Глаза чуть прищурены и очень озабочены.

— Вчера пал Екатеринбург! — продолжала Кирсанова. — Белые свирепствуют в городе. Ночью на Верхотурье налетела вооруженная банда. Есть убитые, раненые. Городу нужен революционный порядок. Не время вы выбрали для споров... Помощь ваша нужна. Фронт на пороге.

Женщины молчали, опутив головы.

— Айда, бабоньки! — сильным голосом проговорила молодка. — Правду сказала комиссарша — не время!

Клавдия Ивановна поспешно перешла грязную, размытую осенними дождями улицу. Приземистый деревянный дом, бывшее общежитие холостяков, с недавних пор превратился в пункт всеобуча. В низеньком палисадничке, окружавшем дом, ветер гнул кусты орешника. Доски забора были разобраны на дрова. Ранние холода выморозили траву, и она лежала побелевшая, безжизненная.

День выдался счастливый. Пришла весточка от Емельяна, весточка о детях. Она любила читать эти письма в одиночестве. Вот и сейчас разорвала конверт.

9 сентября,

Дорогая, милая Клавдичка!

Вот уже третий день, как у меня гостят Марианночка, Ваня, Лева и Анна. Анна взяла отпуск и привезла, по моей просьбе, детей. Вчера, воскресенье, я провел целый день с ними, днем нужно было отлучиться на маневры, я взял их с собой, и они были на маневрах, среди взрывов и бегущих солдат, это им понравилось, хотя Ваня немного струсил. Марианка возмужала, чуточку похудела (говорят, за последние дни перед поездкой в Москву все рвалась к папе). Когда ей сказали, что я живу в Нескучном саду, она очень резонно спросила: почему же он скучает, раз живет в Нескучном саду?

Со мною бывает все время, играет. Смотрела-смотрела на липы в саду и говорит: «Папа, какие они толстые, наелись как!...»

Клавдия Ивановна счастливо рассмеялась. Письмо-то какое большое! Славно, она вечером его перечитает повнимательнее. А сейчас... пулемет,

Посредине большой комнаты стоял квадратный стол на круглых резных ножках. На столе пулемет.

Уже не первый день, выкраивая каждую свободную минутку, приходила сюда Клавдия Ивановна учиться стрелять. Винтовки и браунинги, бомбы и лимонки — все знала по подполью, по баррикадам в Перми и Мотовилихе. Тогда все дни проводила с дружинниками на стрельбищах за Егошихой. По мишеням из браунинга стреляла не хуже Володи Урасова. Бомбы бросала вместе со Лбовым. А сколько динамита прошло через ее руки! А вот пулемет... Пулемет?! Сейчас это первое оружие! Она погладила рукой черный кожух. Открыла замок, начала его разбирать.

Стрелять ее учил Симонов, балтийский моряк. Невысокого роста, широкоплечий, в лихой бескозырке. Он недавно вернулся в Надеждинск из Петрограда. Долгими часами рассказывал ей о Смольном, в котором стоял на карауле, о Ленине...

Пулемет он знал хорошо, разговаривал с ним и искренне удивлялся: зачем это Клавдии Ивановне потребовалось учиться стрелять? Сокрушенно качал головой, приговаривая: «Как хотите, но не женское это дело! Не женское!» Пальцы его, короткие и крепкие, ловко управлялись с «максимом». Особенно нравилось ему вставлять ленту, слушая drobный перестук стальных патронов.

Клавдия Ивановна улыбнулась. Славный человек этот Симонов. Бескозырка всегда сдвинута на затылок. Русые волосы скрывают большой лоб. Голос хриплый, объясняет толково, быстро:

— Запоминай, комиссар! Ствол, ствольная коробка, затыльник... Вот прицел, как окошечко... Теперь лови мушку... Проверь, правильно ли заправлена лента... Проверила? Хорошо. Нервы в кулак, придержи дыхание и спускай курок.

То, что для Симонова казалось таким простым и естественным, для нее было необыкновенно сложным и непривычным. Руки не слушались. Лента не входила в коробку. Приходилось вновь и вновь разбирать и собирать пулемет. Не так-то приятно видеть то сочувствующие, то насмешливые глаза товарищей, когда она возилась с пулеметом. Они с фронта, им легко. В них эту премудрость годами вбивали. И Кирсанова стала выбирать уединенные часы.

Симонов оказался строг. В комнате в дальнем углу повесил мишень, белый лист с черным яблоком, и начал проводить зачетные стрельбы.

И сегодня она радовалась, не застав товарищей в обще-



жители. Плохо еще стреляет, очень плохо! Вздохнув, начала возиться с пулеметом. Осторожно сняла смазку, протерла чистой тряпкой, старательно выговаривая названия частей. Она повеселела. «Только что это за стулья в углу? Вроде раньше их не было...»

Руки дрожали от нетерпения. Она старательно поймала мушку, задержала дыхание, как ее учил Симонов, и нажала гашетку. Пулемет вздрогнул, чуть отъехал на колесах, и заговорил ровно, спокойно.

— Стой! Кто стреляет?!

Из-за стульев поднялась всклокоченная голова, и она увидела не на шутку рассерженного Симонова. Он вскочил с койки, разбросав стулья.

Клавдия Ивановна отпустила гашетку и с испугом смотрела на моряка.

— Петр! Как же я тебя не увидела? Ведь могла... Патроны-то боевые...— побледнев, сказала она.

— А, это ты, Клавдия Ивановна! — басом отозвался Симонов.— Да я нарочно забрался на эту крайнюю койку и стульями огородился, чтобы братва не мешала. Отоспаться решил... Ночью-то бандитов ловили.— И, увидев, как она сконфужена, подобрел: — А ты на стрельбище пришла. Ничего, что разбудила. Скоро смена на заводе. А стрелять-то научилась!..

— Товарищи! Ввиду опасности, угрожающей Октябрьской революции, мы, матросы, обсудили текущий момент.— Симонов возвышался на шлаковозе среди огромной толпы, запрудившей заводской двор. Ветер играл черными лентами бескозырки.— Обсудили и постановили — встать всем, как один, на защиту революции! Всех врагов революции расстреливать! Тех, кто агитирует против мобилизации в Красную Армию, считать врагами. Все солдаты и матросы, все рабочие — к оружию! Записывайтесь в Красную гвардию! Да здравствует диктатура пролетариата! Мир хижинам — война дворцам!

Тревожно и хрипло загудели заводские гудки. Фронт подступил к городу. Клавдия Ивановна потуже застегнула кожаный ремень, поправила деревянную кобуру маузера. Уходил на фронт отряд, уходили рабочие и красногвардейцы. Сегодня уже пятая мобилизация!

Правофланговым в отряде оказался весельчак и балагур рабочий снарядного цеха с трехрядкой в руках и винтовкой за спиной. Русский чуб его лихо выбивался из-под кожаной кепки. На потертой кожанке алел красный бант. Широкие скулы

и слегка вздернутый нос дрожали от улыбки. Отзвучала команда. Парень широко раздвинул мехи трехрядки, тонкими пальцами пробежал по бело-черным кнопкам и высоким чистым голосом запел:

Вставай, проклятьем заклеянный,  
Весь мир голодных и рабов!  
Кипит наш разум возмущенный  
И в смертный бой вести готов!

Широкие железные ворота Надеждинского завода распахнулись, и отряд красногвардейцев выступил на фронт.

## Пулеметчица

Взошло солнце, и яркий свет заполнил лес, окутанный утренней дремой. Над таежным безмолвием звенела тишина. Изредка потягивал свежий ветер, предвестник зимы, да шуршал мертвый лист, кружась, падая на землю. Осень выдалась необычной для Северного Урала. Почти весь октябрь стояли теплые дни. Деревья красовались оранжевым кружевом, шумели зеленою листвою, словно осень не хотела уступать дорогу зиме. Солнышко светило мягко и приветливо. Трепетала листвою береза, в ее зелень желтым золотом вкраплялся пожухлый лист. Не уронили листвою и клены, их бордово-красные треугольники вздрагивали от ветра. Искрились крепкой хвоей ели. Пламенели рыжие лиственницы. Отливала свинцом осина... А ночью выпал снег и густым покрывалом одел землю. Ударил мороз. Рыхлыми хлопьями снег облепил стволы деревьев. Первыми закутались снегом лиственницы. Они стояли словно восковые. Тайга, убранная искрящимся снегом, казалась призрачной, неживой. Ветер срывал листья с деревьев и перекатывал их, зеленые, бордовые, оранжевые, по белому снегу. В снежном серебре миллиардами хрустальных лучей засверкало солнце. По небу ползли облака, оставляя едва приметную тень на земле. Облака проползали лениво, и тогда в бездонном куполе небес проглядывала такая синь и голубизна, что у Клавдии Ивановны перехватывало дыхание.

День разгорался. Искрился снег, искрилась вода в ручейке. Пела и звенела тайга. Обвешанные сверкающими каплями, деревья бросали на землю резкие тени, словно палочные удары.

Клавдия Ивановна, поправив мешок за спиной и расстегнув шинель, обошла стороной небольшое озеро. Не застывшая

вода в солнечном свете казалась хрустальной. На песчаном дне темнели зеленые водоросли.

Она присела на пенек. Уже не первый день идет она тайгой в расположение Волынского полка. Развязала мешок, достала кусок хлеба. Начала аккуратно есть, стараясь не ронять крошек, как когда-то в Пермской тюрьме. На кустах рябины прыгали дрозды. Птицы клевали ягоды. Ягоды падали каплями крови на снег. Кровь и пожар пришли на землю. Кровь и пожар. Клавдия Ивановна достала из мешка серую бумагу. Поднесла к глазам, стала читать:

#### ПРИКАЗ № 1

1) 13 октября 1918 года, войдя в город Верхотурье и уезд с войсками Сибирского правительства, объявляю Советскую власть низложенной.

2) Объявляю себя начальником гарнизона г. Верхотурья. Комендантом города назначаю корнета Мензелинцева.

3) Объявляю земские, городские и другие учреждения, разогнанные большевиками, восстановленными.

Представителям названных учреждений немедленно приступить к своим обязанностям. Об исполнении донести.

4) Все приказы, декреты и законоположения Советской власти отменяются.

5) Объявляю город и окрестности Верхотурья на военном положении, хождение и езду по городу разрешаю с 6 часов утра до 20 часов вечера. Лицам, нуждающимся в хождении и езде по городу, обращаться к коменданту за пропуском

6) Всякие сборища и собрания граждан Верхотурья воспрещаю без особого на то разрешения.

7) Всех чинов Красной Армии, комиссаров и лиц, причастных к Советской власти, задерживать и представлять к коменданту города Верхотурья.

8) Какие бы то ни было выступления против Сибирского правительства, его войск, начальников и стрелков, а также представителей административной власти и прочее будут караться по всей строгости закона военного времени, вплоть до расстрела.

9) Все оружие, как холодное, так и огнестрельное, а также предметы военного обмундирования, снаряжения и других предметов военного обихода должно быть сдано к 20 часам 14 октября.

10) За всякую порчу кабеля, телеграфа, телефона, железнодорожной линии, разбои, грабежи и поджоги виновные будут расстреляны на месте преступления. За неисполнение настоящего приказа виновные будут отвечать по всем строгостям закона военного времени.

Командир 16-го Ишимского Сибирского стрелкового полка штабс-капитан Казагранди.

Клавдия Ивановна до боли сжала отяжелевшую голову. Тоскливо смотрела на сверкающий лес. В сердце усталость и отчаяние. Белые овладели Уралом! Все, чему была отдана

ее жизнь, все, чему была отдана жизнь Емельяна, все, чему была отдана жизнь товарищей по партии,— попроано и поругано! Советская власть в Надеждинске низложена. Завод отобран у рабочих. В городе бесчинствует «белая дружина» — лавочники и черносотенцы, нацепившие на рукава белые повязки. Хлещут нагайки! Расстреливают коммунистов! Рабочих загоняют в казармы! Народный дом занят под постой солдат!

По щекам катились слезы. Она чувствовала их горько-соленоватый вкус. Белые в Надеждинске!

Она ушла из города с последним эшелонам. Всю ночь в Совдепе семьям красноармейцев и рабочим раздавали муку. До последней копейки роздали деньги. Женщины не спрашивали ни о чем. А лишь горестно, поджав губы, смотрели на нее. У Клавдии болезненно сжималось сердце: как их оставить? Нужно было уходить. Белые рвались к Верхотурью. Захватят его — тогда Надеждинск будет отрезан. Торопливо просматривала она протоколы заседаний Совета, первые декреты Советской власти, первые приказы... За каждым клочком бумаги — бессонные ночи, мучительные раздумья. А теперь бумаги сжигались. Она помешивала железной кочергой в голландке красные катушки бумаг с траурной каймой пепла. Слушала, как ревет огонь.

Она оставила Совет последней. Грустно посмотрела на дом сестры, в котором прожила почти полтора года, на двор, где когда-то бегала Марианночка. И вновь заныло сердце: как-то придется сестре?

На станции дожидался состав «коротышка» из восьми вагонов: двух классных и теплушек. Попыхивал паровоз большой трубой, рассыпая искры. Тоскливо лязгали буфера. Пробежали красноармейцы, подтаскивая к вагонам ящики с документами. Грузили оружие, пулеметы.

Сиротливо чернели на сером небе остроконечные башенки Надеждинского вокзала. Мигал фонарь водокачки. Мертвым листом была береза в ее запыленные оконца. А там, на севере, сверкал вечным снегом Денежкин мыс.

Клавдия Ивановна поправила кобур у маузера на кожанке. В глазах сестры Евгении, пришедшей ее проводить, увидела испуг. Поцеловав ее, сказала громко:

— Мы вернемся! Обязательно! — И, уже стоя на подножке вагона, прокричала: — Вернемся!

Вагон трясло. Брызги фонтаном разлетались из-под шпал и залепливали грязью стекла. По вагону разгуливал ветер. От тряски уныло скрипели полки. В горячечном бреду метался

тифозный больной. В углу плакал ребенок. Тихо и неторопливо переговаривались рабочие. Впереди ждала неизвестность. И от этой неизвестности у Клавдии Ивановны, как и у всех сидящих в вагоне, болезненно ныло сердце. Она придвинулась к окну. Вдали виднелись высокие трубы Надеждинского завода, приземистые домишки, окруженные заборами, одинокие фигурки людей. Город уходил. Поезд набирал скорость...

В Верхотурье еще не было белых. Эшелон проскочил на Вятку, а Клавдия Ивановна задержалась в городе. В верхотурьенском монастыре собрались представители Совдепа, чтобы обсудить план борьбы с белогвардейцами. Совещание было недолгим. Коммунисты рассылались по уезду: поднять повстанческое движение в тылу. Рабочие уходили с Волинским полком. Для защиты Советской власти в округе была создана Военная коллегия; членом ее стала Кирсанова.

Начались трудные дни. Кирсанова собирала отряды, произносила речи, убеждала людей. Не спала, держалась усилием воли. И все же Верхотурье пришлось оставить. Она ушла и из этого города с последним эшеленом.

Эшелон уходил на запад, в Вятку. Клавдия Ивановна осталась на станции Выя, чтобы попасть в Волинский полк.

Там, в Вые, и передал ей один рабочий этот приказ, приказ № 1. Страшный приказ!

Что творилось в ее Надеждинске! Дом барона Таубе превратился в застенок. «Белая дружина» бесчинствовала. В город пришли каратели, пришли, словно в завоеванную страну, с нагайками и шомполами.

На князя Вяземского, командира карательного отряда, страшно было смотреть. Верзила саженого роста. Лицо жестокое, глаза безумные, весь опух от пьянства, на черной папхе — череп и кости.

Князь Вяземский с трудом выдержал торжественную встречу, которую ему устроили на вокзале местные лавочники и духовенство. Особенно суетился регент церковного хора.

Маленький, с пухлым румяным лицом, он, благоговейно взмахнув руками, начал «Многия лета». Церковный хор старательно ему вторил. Князь скривился, откровенно зевнув. После торжественного богослужения регент подкатился к князю, осторожно ступая короткими ножками. Он приветствовал князя пышной и громкой речью от партии кадетов, членом которой имел честь быть. Высказавшись, регент почтительно наклонил лысеющую голову и замер. Князь Вяземский взорвался, побледнев от гнева, процедил сквозь зубы:



— Партия... На святой Руси партия?! Распустились, подлецы... Расстрелять!

Глаза его бешено сверкнули, и регента схватили. Князь, ударив плетью по высоким сапогам и не глядя по сторонам, прошел мимо оробевшей толпы.

К вечеру в Народный дом согнали жителей. У входа стояли каратели со штыками. На сцене бегал комендант города штабс-капитан Казагранди, кричал:

— Запорю! Всех!..

Ночью прошли аресты. Арестованных сгоняли к дому барона Таубе. Начались пытки, избиения, допросы. Утром первую партию арестованных повезли на расстрел. Окровавленных и полураздетых, их везли через весь город на санях. Конники с обнаженными шашками сопровождали обреченных. Расширенными от ужаса глазами смотрели женщины на осужденных, пытаясь пробиться к саням. Конвоиры стегали их нагайками. Слышались стоны, проклятия...

Их расстреляли на окраине города близ татарского кладбища.

А потом князь Вяземский начал для устрашения устраивать порку. Экзекуция происходила у дома барона Таубе, в пристройке. Целыми днями раздавались крики истязуемых, ругань пьяных карателей. Пол, стены, даже потолок были забрызганы кровью. Пороли нещадно. Обливали холодной водой и вновь пороли, посыпая раны солью. И так день за днем...

Пора в путь. В последний раз оглянулась Клавдия на лес и, ориентируясь по компасу, двинулась на запад, к деревне Вологино.

Над деревней курился легкий дымок. Доносился лай собак. Чернели крыши домов, покрытые драньем.

Сопровождаемая молоденьким красноармейцем, она направилась к избе. Здесь размещался штаб полка. От долгой дороги она устала и предвкушала отдых и ночлег.

На продолговатом столе она сразу же увидела карту. Над ней склонились командиры и о чем-то спорили, не обращая внимания на вошедших. Больше других горячился Симонов. У русской печи гремела чугунами старуха.

Клавдия Ивановна сняла мешок, опустила его на чисто отмытую лавку.

— Товарищ командир... Доставил тут гражданочку до вас! — сказал красноармеец по-юношески звонко.

— Ну, кто там? — недовольно отозвался высокий худощавый человек, приподнимая голову от карт.

— Клавдия Ивановна! — обрадованно закричал Симонов, сдвигая по привычке бескозырку на лоб. — Вот здорово!

Клавдия Ивановна развязала черный платок, сняла шинель. Огляделась. Пригладила каштановые волосы и, улыбаясь, протянула руку командиру.

— Волков, — представился он.

— Здравствуйте... Здравствуйте... Наконец-то добралась до вас. Как обстановка? — Она осторожно отстегнула булавку и из бокового кармана платья достала бумагу. Развернула, протянула ее Волкову. — Верхотурье пало. Вчера. Положение тревожное. Создана Военная коллегия. Вот мой мандат.

Волков, скосив глаза, читал:

Как член Военной коллегии, тов. Кирсанова имеет неограниченные права в Богословском горном округе, а именно: ликвидировать неспособные учреждения и учреждать новые; смещать и назначать должностных лиц; по борьбе с контрреволюцией тов. Кирсанова имеет право организовывать отряды, вооружать их и вести самую беспощадную борьбу с контрреволюционерами означенного округа.

Тов. Клавдия Кирсанова имеет право разговоров по прямому проводу, телефону, подачи телеграмм с надписью «военная», бесплатного и беспрепятственного проезда во всех поездах всех жел. дор. линий, также требовать паровозы и целые составы, что подписью и приложением печати удостоверяется.

Командир аккуратно свернул мандат, возвратил его Кирсановой.

— Мы бы тебя, Клавдия Ивановна, и без мандата приняли... Вот послушай обстановку...

Командир был для Клавдии Ивановны человек новый. Он привел из Сосьвы с металлургического завода отряд рабочих-красногвардейцев. Говорил немного. Движения его были сдержанны.

— Положение складывается так, товарищ Кирсанова, — глуховато начал Волков, расправив карту, разрисованную красными и синими линиями. — Полк наш занял позицию по реке Актай. Вот здесь проходит линия окопов. Тут, за рекой, белые. Штаб их находится в селе Путивке. Полк свежий, недавно сформирован. Располагает пушками, пулеметами. Мы же все время отходим с боями от самой Тавды. Бойцы устали. Обмундирование летнее. От полка осталось два батальона. Вооружены винтовками и двумя пулеметами. Что делать?

— Наступать! Волинский полк будет участвовать в наступлении на Верхотурье. Не можем мы оставить Верхотурье. Здесь железнодорожный узел, здесь сердце Богословского гор-



ного округа. Здесь подступы к туринским рудникам, к надеждинскому металлургическому, к сосьвинскому чугунолитейному, лялинским заводам, к золотым и платиновым приискам... Надо выбить белых из Верхотурья. Знаю, что полк устал, долгое отступление измотало его, бойцы плохо одеты... Знаю... И все же наступать — другого выхода нет! — Клавдия Ивановна подошла к Симонову: — Казагранди бесчинствует в Надеждинске... Сердце стынет от горя, как узнаешь о его злодеяниях. Нужно коммунистов послать в части врага, чтобы разложить их... — И озабоченно спросила: — Как с патронами?

— Да плохо! По два десятка на бойца, — устало ответил Волков.

— Плохо! — согласилась Кирсанова. — Вот отобьем Верхотурье и тогда отправим полк на переформирование. Ты проводи меня, Симонов, к надеждинцам... Пойду поговорю с товарищами, а через час соберем коммунистов.

С шумом распахнулась входная дверь. В морозном облаке в избу ввалился молоденький красноармеец. Вытянулся перед командиром:

— Товарищ командир! Беляки в атаку пошли!

Кирсанова схватила шинель и поспешно выбежала за командиром, на ходу завязывая платок.

Окопы были сразу же за деревней. Обстрел нарастал. Слышались тяжелые раскаты артиллерии и лающий треск пулеметов. Бежать было трудно. Ноги проваливались в снег, хлестал ветер. Она привычно ощупала маузер. Позади остался последний дом. Вот и окопы. Прижавшись к земле и крепко зажав винтовки, бойцы напряженно вглядывались в берег Актая. Полк ждал команды и огня не открывал. Она прыгнула в окоп, больно ударившись о мерзлую землю. Прилегла к земле и так же, как и бойцы, начала смотреть на пологий берег Актая. Загрохотала артиллерия, поднимая снежный фонтан, и смолкла. Наступили жутковатые минуты затишья. Взвилась красная ракета. По белому насту, высоко поднимая ноги, пошли в атаку солдаты.

Клавдия Ивановна ощупала вороненую сталь маузера. Нет, это не оружие в бою! Приглядевшись, увидела на небольшом возвышении под кустом орешника пулемет. Тупорылый ствол его блестел на солнце. Она вылезла из окопа, обдирая руки о мерзлую землю, двинулась к пулеметчикам. К ее радости, первым номером оказался тот самый запевала из снарядного цеха, который уходил с трехрядкой в отряде Симонова. Он при-

ветливо кивнул ей и тихо, словно его могли услышать, сказал:

— Будешь, Клавдия Ивановна, патроны подносить! — И уже чужим голосом крикнул: — Ложись!

Белые наступали. Гремел барабан. Лучи солнца играли на золотых погонах. От черных высоких папах солдаты казались неестественно большими и грозными. Послышалась громкая команда, и заученным движением солдаты взяли винтовки наперевес. В руках офицера сверкала шашка.

Клавдия Ивановна лихорадочно подсчитывала. Батальон. Еще батальон. Еще... Да, силы не равны. Полк вымуштрован. У многих блестят золотые погончики вольноопределяющихся. Сынки лавочников и заводчиков спасают «свободную» Россию!

Гремел барабан, печатал шаг полк. Морозная земля гулко передавала размеренные удары. Кирсанова посмотрела на пулеметчика. На лице его нетерпение. «Что же это Волков не дает сигнала! — забеспокоилась она. — Патроны жалеет...»

Было страшно смотреть на марширующие сапоги, слушать барабанный гром. «Решили дать показательный бой, сволочи! Знают, что полк измотан и оружия мало!» — пронеслось в голове.

Черные шеренги приближались, она уже различала лица солдат. Брезгливо морщил губы высокий черноусый офицер. Испуганно таращил глаза правофланговый, верзила саженого роста. Штыки, примкнутые к винтовкам, зловеще покачивались. Ближе, ближе, ближе...

— По врагам революции огонь! — послышался хриплый голос Волкова.

И сразу же ударил пулемет: тра-та-тра-та-тра-та... Клавдия Ивановна подтащила ящик с патронами, залегла. Волынды дали залп. Пули со свистом перелетали через Кирсанову. И вдруг, раскинув руки, упал черноусый офицер, сверкнула его шашка. Строй сломался, начал редеть, слышались проклятия. Пулемет захлебнулся, первый номер истошно прокричал:

— Патроны! Патроны!

Она чуть дрожащими руками начала вытаскивать ленты из железной коробки. Наконец-то нарушился вражеский строй, наконец-то замолчал барабан. Молоденький красноармеец, испуганный и притихший, лежал у пулемета вторым номером и расширенными глазами глядел вперед. По неестественной бледности, покрывшей его веснушчатое лицо, Кирсанова поняла — первый раз в бою! И, полная сочувствия, пожалела его.

— Ползи к Симонову! Скажи, чтоб фланги не забывали. Я замену тебя!

Парень недоверчиво поглядел на нее и вдруг ловко спрыгнул в окоп.

Клавдия Ивановна улыбнулась. Она уже овладела собой. Белые вновь пошли в атаку. Ряды сомкнулись, ударил барабан. Волинцы молчали. Первый номер развернул пулемет, и резкая пулеметная очередь прошла врага.

Глухо ударили пушки. Снаряд, взвизгнув, разворотил орешник. Пулеметчик качнулся и отвалился от пулемета. Клавдия Ивановна кинулась к нему. На высоком лбу чернел осколок снаряда, тонкая струйка крови заливала лицо.

— Убит,— тихо проговорила Кирсанова.

Накрыв его голову ушанкой, словно он мог простудиться на мерзлой земле, она придвинулась к пулемету. Вернулся молоденький красноармеец и беспомощно замер. Клавдия Ивановна хрипло приказала:

— Ленту! Ленту!

В шум боя, в гром артиллерийской пальбы и треск выстрелов вновь влилась пулеметная очередь: тра-та-тра-та-тра-та... На конце тупорылого ствола пулемета плясало красное пламя. Клавдия Ивановна не отпускала гашетку. Била уверенно, прицельно. Беляки отступили. Полк бежал, офицер с широким полковничьим погоном озверело колотил солдат нагайкой. И тогда Кирсанова поднялась во весь рост, вынула маузер, громко прокричала, повернувшись к волынкам:

— Вперед за Советскую власть! — и первой бросилась по снежному насту, слыша за собой тяжелый топот солдатских сапог.

Волинский полк пошел в атаку.



## СОДЕРЖАНИЕ

Урасов В. А. К читателям этой книги . . . . .	3
---	---

### ПЯТЬ БОМБ УРАСОВА

Михалыч . . . . .	5
Боевик Володя . . . . .	12
«Черные вороны» . . . . .	17
«Лесные братья» . . . . .	24
Три абажура . . . . .	29
Демон . . . . .	40

### ВЕРСТЫ... ПОЛУСТАНКИ...

Сибиряк . . . . .	44
Какая у человека совесть? . . . . .	48
Нет, Мария! Нет! . . . . .	54
Случайное знакомство . . . . .	58

### «МЕРТВЫЙ ДОМ»

Каторжанка . . . . .	67
«Прощайте, товарищи!» . . . . .	72
Пятая камера . . . . .	81
Подкоп . . . . .	86

### НА ЭТАПЕ

Мать . . . . .	92
Александровский централ — пересыльная тюрьма	97
Конокрад Яшка . . . . .	103
Эдельвейс . . . . .	106

### ЯКУТСК

Крестьянка села Павловского . . . . .	113
«Амнистия» . . . . .	117
«Паспортное бюро» . . . . .	120

Дневник . . . . .	126
Серго . . . . .	131
Депутат Государственной думы . . . . .	136
«Комитет общественной безопасности» . . . . .	139

## НАДЕЖДИНСК

Посланец ЦК . . . . .	146
Тяжелые дни . . . . .	155
Пулеметчица . . . . .	165

Для старшего возраста

*Вера Александровна Морозова*

### КЛАВДИЧКА

*Повесть*

Ответственный редактор *Г. А. Дубровская.*

Художественный редактор *Л. Д. Бирюков.*

Технический редактор *О. В. Кудряцева.*

Корректоры *В. И. Дод* и *Л. А. Рогова.*

Сдано в набор 20/XII 1973 г. Подписано к печати 11/IV 1974 г.  
 Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. типогр. № 2. Печ. л. 11. Усл. печ. л. 10,23.  
 Уч.-изд. л. 10,23. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1885. Цена 43 коп.  
 Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская  
 литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.  
 Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга»  
 № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета  
 Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книж-  
 ной торговли. Москва, Суэцевский вал, 49.

Цена 43 коп.